

ГОВАРД
ЛАВКРАФТ



Ужас Данвича



ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Всемирная литература

Говард Лавкрафт

Ужас Данвича

«ЭКСМО»

УДК 821.111(73)
ББК 84 (7Сое)

Лавкрафт Г. Ф.

Ужас Данвича / Г. Ф. Лавкрафт — «Эксмо», — (Всемирная литература)

ISBN 978-5-04-157660-8

Американский писатель Говард Филлипс Лавкрафт при жизни не опубликовал ни одной книги, печатаясь только в журналах. Признание пришло к нему спустя десятилетия после смерти. Его творчество стало неиссякаемым источником вдохновения не только для мировой книжной индустрии, а также нашло свое воплощение в кино и играх. Большое количество последователей и продолжателей циклов Лавкрафта по праву дает право считать его главным мифотворцем XX века. В сборник вошли ключевые рассказы «Мифов Ктулху», в том числе «Хребты безумия» об экспедиции ученых в царство вечных льдов и «Ужас Данвича» о странном мальчике, внушавшем страх всем жителям деревушки.

УДК 821.111(73)

ББК 84 (7Сое)

ISBN 978-5-04-157660-8

© Лавкрафт Г. Ф.

© Эксмо

Содержание

Безымянный город	6
Покинутый дом	13
I	13
II	16
III	19
IV	23
V	27
Модель Пикмана	30
Жизнь Чарльза Декстера Варда	38
I. Заключение и пролог	39
1	39
2	41
II. Прошлое и кошмар в Провиденсе	45
1	45
2	48
3	51
4	54
5	57
6	60
III. Сбор сведений и вызов духов	63
1	63
2	66
3	68
4	69
5	73
6	75
IV. Мутация и безумие	78
1	78
2	80
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Говард Филлипс Лавкрафт

Ужас Данвича

Сборник

* * *

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

- © Володарская Л., перевод на русский язык. Наследники, 2021
- © Брилова Л., перевод на русский язык, 2021
- © Любимова Е., перевод на русский язык. Наследники, 2021
- © Чарный В., перевод на русский язык, 2021
- © Алякринский О., перевод на русский язык, 2021
- © Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2021

Безымянный город

Перевод В. Чарного

Приближаясь к безымянному городу, я ощущал проклятие, тяготевшее над ним. Путь вел меня через выжженную долину, полную ужасов, и в свете луны я увидел, как зловеще он вздымался над песками, словно труп, наспех присыпанный землей. Страхом сочились обветшалые, вековечные стены этого свидетеля потопа и пращура старейшей из пирамид, и незримая аура толкала меня прочь, призывая отступить от древних и гибельных тайн, которые не дозволено видеть смертным и завесу которых ни один из них не отважился приподнять.

В отдаленной части Аравийской пустыни лежит этот город без имени, рассыпаясь в прах, и молчат его стены, почти скрытые песками бесчисленных веков. Он был здесь еще до того, как заложили Мемфис, до того, как в печах обжигали кирпичи Вавилона. Нет легенды столь древней, что сохранила бы его настоящее имя, неоткуда узнать, кипела ли в нем жизнь, но чей-то шепот у ночного костра, бормотание старух в шатрах шейхов могли поведать, что ни одно из племен пустыни не смело приблизиться к нему, и никто не знал почему. Этот город видел во сне поэт-безумец, Абдул Альхазред, прежде чем сложил загадочные строки:

Не мертво то, что в вечности покой
Сумело обрести, со сменою эпох поправши саму смерть.

Мне следовало бы догадаться, что арабы не зря сторонятся этого места, живущего в преданиях, но не виденного никем из живущих, но я, отринув все предрассудки, пустился к цели неторной дорогой, оседлав верблюда. Лишь я один узрел его, лишь на моем лице отпечатался весь ужас, что открылся мне, и меня одного бросает в дрожь, едва ночной ветер стучится в окно. Приблизившись к нему, я ощутил его взгляд из пугающих глубин бесконечного сна, лучом луны оледенивший мое сердце в этой жаркой пустыне. Окинув его взглядом, я позабыл о всякой радости, свойственной первооткрывателю, и спешил с верблюда, решив войти в город на заре.

Тянулись часы, наконец небо на востоке посерело, поблекли звезды, и горизонт зарозовел, зазолотился. Завыл ветер, взметнув песок над древними камнями, хотя на небе не было ни облака, и бескрайние дюны были бестревожны. Внезапно над краем пустыни вознеслось слепящее солнце, видневшееся сквозь песчаную бурю, уносившуюся за горизонт, и я, дрожа, словно объятый лихорадкой, услышал мелодичный лязг металла из далеких глубин, приветствовавший огненный диск, как колоссы Мемнона с берегов Нила. В ушах звенело, и в смятении, охватившем меня, я медленно правил верблюдом сквозь пески, приближаясь к безмолвному городу, который из всех живущих видел лишь я один.

Скитаясь меж бесформенных руин, я не мог отыскать ни единого барельефа, ни одной надписи, что поведала бы мне о людях – людях ли? – что возвели эти стены и жили здесь так давно. Мне становилось не по себе от того, насколько древним было все вокруг, и я тщился обнаружить хоть какой-то признак того, что город действительно был создан силами людей. Сами пропорции зданий, черты их вселяли в меня тревогу. Я взял с собой немало инструментов и принялся за раскопки, но продвигался крайне медленно, не обнаружив ничего стоящего. Когда спустилась ночь и взошла луна, я ощутил дуновение ледяного ветра, и страх погнал меня прочь из развалин. Когда я покидал пределы древних стен, песчаный вихрь забурлил за моими плечами, танцуя на серых камнях, хотя пустыня вокруг была спокойной, и сияла луна.

Вереница кошмарных снов мучила меня до самого пробуждения, когда на заре я вновь услышал тот металлический звук. Я увидел, как лучи красного солнца пронизали песчаный

вихрь, рассеявшийся над стенами города, заметив, что пустыня вокруг была по-прежнему спокойна. Снова я отправился к руинам, мрачно гнездившимся среди песка, словно великан-людоед в укывище, и снова мои поиски реликвий забытой расы не принесли плода. В полдень я прекратил раскопки, а затем принялся отмечать направления стен и улиц, очертания исчезнувших зданий. Некогда город этот был в самом деле велик, и я гадал о природе подобного величия. Воображение мое создавало картины времен, что изгладились даже из памяти халдеев, я вспоминал Проклятый Сарнат в земле Мнар на заре человечества, вспоминал Иб, высеченный из серого камня до прихода людей.

В своих исканиях я с радостью обнаружил место, где каменное ложе подобием скалы возносилось над песком, обещая мне доступ к тайнам допотопной расы. На возвышении этом я безошибочно различал приземистые каменные дома или сооружения культа, залы которых еще могли хранить следы бесследно минувших эпох, когда все, что когда-то украшало стены снаружи, исчезло под натиском песка и ветров.

Слишком узки, почти скрыты песками были темные провалы рядом со мной, но мне удалось расчистить один из них при помощи заступа и протиснуться в него, освещая путь к ожидавшим меня тайнам при помощи факела. Оказавшись внутри, я понял, что здание, куда я проник, было храмом, и стены его носили знаки, оставленные расой, населявшей город до того, как пустыня стала пустыней. Здесь были примитивные алтари, колонны и ниши, все необычно низкие, и хоть я не заметил ни скульптур, ни фресок, множество камней помечали символы, высеченные чьей-то рукой. Потолок был настолько низким, что я с трудом стоял на коленях, но зал был настолько большим, что свет моего факела не достигал его края. Добравшись до отдаленных уголков его, я содрогнулся: некоторые из алтарей и символов намекали на позабытые, отвратительные, необъяснимые ритуалы, и я задумывался о природе людей, создавших этот храм и проводивших их. Осмотрев все помещение, я выполз наружу, воодушевленный тем, что могли скрывать другие подобные храмы.

Близилась ночь, но увиденное пробудило во мне любопытство, пересилившее страх, и я не бежал от длинных теней, смутивших мой разум в свете луны, когда я впервые увидел безымянный город. В сумерках я расчистил другой завал, и с новым факелом пробрался внутрь, вновь увидев неясные символы на камнях, мало чем отличавшиеся от тех, что я видел в предыдущем храме. Зала была столь же низкой, но намного меньше, и заканчивалась очень узким проходом, уставленным загадочными алтарями. Я осматривал их, когда вой ветра и крик верблюда снаружи нарушили тишину, понудив разузнать, что могло испугать животное.

Ярким лунным светом были залиты руины безыскусных строений и плотное облако песка, взметнувшееся с порывистым, но уже ослабевавшим ветром над одним из холмов передо мной. Я знал, что верблюда встревожил этот холодный ветер, и хотел уже увести его в укрытие, когда заметил, что ветер над холмом вдруг совершенно стих. Это поразило и испугало меня, но я немедленно вспомнил о столь же внезапно возникавших песчаных бурях, увиденных мной на восходе, заключив, что для здешних мест это обыденное явление. Я решил, что ветер дул из расщелины, что вела в пещеру, и осмотрел песок, чтобы проследить его направление, определив, что он исходил из храма к югу от меня, едва различимого. Я побрел к нему, сражаясь с песчаным ветром, и он становился все ближе, возвышаясь над окружающими строениями, а вход в него был не так сильно занесен спекшимся песком. Сразу войти я не сумел – ледяной ветер необычайной силы едва не погасил мой факел. Этот загадочный поток все струился наружу, яростным дыханием взметая песок, разбрасывая его над причудливыми руинами. Вскоре он ослаб, и песок осыпался, и вновь настала тишина, но что-то таилось меж призрачных камней, и когда я взглянул на луну, казалось, она трепетала, словно в отражении встревоженных вод. Беспочвенный страх овладел мной, но жажда знаний была сильнее, и едва утих ветер, я устремился навстречу породившей его черной расщелине.

Снаружи этот храм выглядел больше всех, что я уже обыскал, вероятно, он был высечен в пещере, раз вход в него нес ветер из подземных глубин. Здесь я мог стоять в полный рост, но жертвенники и алтари были все такими же низкими. На стенах и под потолком я впервые увидел следы изобразительного искусства древней расы, причудливо выющиеся мазки, почти истершиеся в прах, а на двух алтарях со все нарастающим волнением обнаружил прихотливо сплетенный резной узор. В свете моего факела крыша имела слишком правильный вид, вряд ли природа ее была естественной, и я дивился искусству доисторических камнетесов. Их мастерство было неоспоримо.

Следующая яркая вспышка моего чудесного путеводного огня указала мне столь желанный путь в исторгавшие ветер глубины, и я предательски ослаб, увидев, что то была рукотворная дверь, врезанная в скалу. Я осветил себе путь, уводивший вниз по крохотным, крутым ступеням. Они всегда являются мне в моих снах, эти ступени – я постиг их назначение. Тогда они даже не казались мне ступенями – лишь слабой опорой для ног на крутом спуске. Мой разум одолевали безумные мысли, слова и предостережения арабских прорицателей будто бы неслись над пустыней из ведомых людям земель в землю, на которую никто из них не осмеливался ступить. Всего лишь миг, и сомнения мои отступили, и я, миновав портал, начал осторожно спускаться по крутым ступеням лестницы.

Только в ужасных наркотических грезах или умопомрачении мог кому-либо привидеться подобный спуск. Узкий проход, которому не было конца, вел меня вниз, словно на дно ужасного призрачного колодца, и свет факела над моей головой не достигал глубин, навстречу которым я шел. Я потерял счет времени, забыв свериться с часами, и ужаснулся, осознав, сколь долгим был мой спуск. Ступени меняли направление и крутизну, наконец я достиг узкого прямого прохода, держа факел над головой и ощупывая камни пола ступнями. Здесь нельзя было встать даже на колени. Затем я снова почувствовал крутизну бесчисленных ступеней под ногами, когда слабеющее пламя моего факела наконец угасло. Когда я заметил это, я все еще держал его над головой, как если бы он все еще горел. Мне не давал покоя инстинкт искателя необычного и неизвестного, тот, что заставил меня скитаться по земле, в ее далеких, древних, запретных уголках.

Во тьме мне виделись фрагменты желанного сокровища, дьявольского знания, изречения безумного араба Альхазреда, вселяющие ужас апокрифические сочинения Дамаския, печально известные строки из немислимого «Образа Мира» Готье де Меца. Я вновь и вновь цитировал их, бормоча об Афрасиабе и демонах, плывших с ним по течению Окса, вновь и вновь нараспев читал одну и ту же строчку из лорда Дансени: «Безответная чернота бездна». Когда спуск стал почти что отвесным, я начал напевать что-то из Томаса Мора, пока не устранился собственных слов:

О бездна черных волн, о мрак,
Что полнится, как ведьмы варевом,
Полночным зельем в лунном зареве,
Склонясь над ней, искал для переправы сил,
На самом горизонте мглы я зрил
Блестящий, будто из стекла, причал,
Вознесшийся над пеленою вод,
Там смертный трон, покрытый скверной, тьму венчал,
Исторгнут бездной, нечестивый плод.

Казалось, время перестало существовать, когда под ногами я вновь ощутил ровный пол, оказавшись в помещении, где потолок был чуть выше, чем в двух храмах где-то невообразимо далеко наверху. Стоять в полный рост я не мог, лишь ползти на коленях, и так, окружен-

ный тьмой, я двигался неизвестно куда. Скоро я понял, что попал в узкий проход, в нишах стен которого стояли ящики из полированного дерева и стекла. Эти находки в подобном месте эпохи палеозоя вселяли ужас, и я содрогнулся. Ящики эти были горизонтально расставлены с равными промежутками, имели продолговатую форму, и омерзительным образом походили на гробы. Пытаясь сдвинуть два-три из них с места, чтобы осмотреть тщательнее, я обнаружил, что они надежно закреплены.

Проход казался длинным, и я устремился вперед, и то, как я двигался во мраке, ужаснуло бы любого наблюдателя: ползком, от стены к стене, ощупывая их и эти ящики, чтобы убедиться, что я держусь намеченного пути. Я уже привык ориентироваться при помощи осязания, почти забыв о тьме вокруг, и чувства рисовали мне бесконечный ряд из дерева и стекла так живо, как если бы я видел его. А затем, в единый миг смятения, я увидел.

Не могу сказать, когда мои видения слились с реальностью, но я приближался к источнику неведомого подземного свечения и различал смутные очертания прохода и ящиков. Все выглядело так, как я и представлял, пока свечение было слабым, но стоило ему усилиться, как я понял, насколько слабым было мое воображение. Зала эта была не грубым реликварием прошлого, как храмы там, наверху, но памятником неопишуемой, необычайной искусности. Насыщенные, словно живые, фантастически смелые узоры и картины сплетались в сеть настенной росписи, которую нельзя было описать словами. Ящики из необычного золотистого дерева с крышками прозрачайшего стекла заключали в себе мумифицированных существ, чей облик превосходил самые безумные видения.

Доподлинно передать то, как выглядели эти твари, невозможно. Они походили на ящеров, и в то же время в очертаниях тел угадывалось и что-то от крокодилов, что-то тюлень, и то, с чем не приходилось встречаться ни одному из палеонтологов. Размерами они приближались к человеку небольшого роста, конечности венчали подобия ступней с подобными человеческим пальцами. Но причудливей всего были их головы, нарушавшие все известные законы природы. Сравнить их было не с чем – в один миг я вспомнил черепа кошек, лягушек, мифических сатиров и людские. У самого Зевса не было такого колоссального, мощного лба, а рога, отсутствие носа и челюсти аллигатора ставили их обладателей вне всяческих классификаций. Я некоторое время сомневался в подлинности мумий, подозревая, что то были искусно сделанные идолы, но вскоре решил, что это в самом деле некий вид эпохи палеогена, когда в городе еще теплилась жизнь. Их нелепый облик еще сильнее подчеркивали дорогие одежды на некоторых телах, затейливо украшенные золотом, камнями и неизвестными сверкающими металлами.

Эти пресмыкающиеся твари, должно быть, значили очень много для тех, кто сотворил эти ошеломляющие фрески и роспись на стенах и потолке. С непревзойденным мастерством художник отразил мир их городов и садов, где все было создано для их удобства, и я не мог отвязаться от мысли, что картины их жизни были аллегорией, иносказательно повествующей о развитии той расы, что поклонялась им. Я убеждал себя в том, что эти создания были для них тем же, чем волчица для римлян или тотемное животное для индейского племени.

Передо мной предстала поразительная история безымянного города, история могучей метрополии на морском берегу, владычествовавшей над миром до того, как из океанских вод поднялся африканский континент, о времени невзгод, наставшем, когда море ушло и плодородная долина превратилась в пустыню. Я видел победоносные войны, поражения и бедствия и, наконец, ужасную борьбу с пустыней, когда тысячи жителей города, здесь изображенных в виде рептилий, были вынуждены невероятным образом пробиваться сквозь земную твердь навстречу новому миру, о котором гласили пророчества. Все это выглядело настолько же невероятно, насколько было правдоподобным, и несомненной была связь этой повести с моим умопомрачительным спуском в эти глубины. На фресках я частично узнавал проход, который преодолел.

Продолжая двигаться ползком навстречу свечению, я осматривал картины заката той эпохи – исход расы, что десять миллионов лет царил в безымянном городе и долине, расы, чей дух был надломлен, исторгнутый из той колыбели, что знали их тела, куда они пришли на заре земных лет, высекая в девственных скалах эти святыни, которые никогда не переставали чтить. Свет становился ярче, и теперь я мог пристально изучать фрески, памятуя о том, что эти немислимые рептилии изображали неизвестную расу людей, и подумать над обычаями тех, кто населял безымянный город. Многие казалось мне загадочным, необъяснимым. Цивилизация, владевшая письменной речью, достигла больших высот, нежели неизмеримо более поздние Египет и Халдея, но на полотнах ее жизни загадочным образом отсутствовали некоторые подробности. Я не мог найти ни сюжетов о смерти от естественных причин, ни о погребальных ритуалах, за исключением посвященных войнам, насилию и болезням, и не мог понять причины, стоявшей за подобными недомолвками. Видимо, взлелеянная идея иллюзорной вечной жизни служила вдохновением этим художникам прошлого.

Близился конец прохода, и попадавшиеся мне фрески становились все более насыщенными и изощренными, основываясь на контрасте меж опустевшим безымянным городом, превращавшимся в руины, и новой обетованной землей в подземных глубинах, к которой раса проложила этот путь. На них город в пустынной долине был залит лунным светом, над павшими стенами сиял ее золотой нимб, приоткрывая непревзойденное величие минувших времен, изображенное призрачным, ускользящим. Сцены новой, райской жизни, диковинность которых граничила с неправдоподобием, запечатлели потаенный мир вечного дня, чудесных городов, холмов и долин неземной красоты. Увидев последнюю фреску, я подумал, что искусство перестало служить ее создателю. В манере живописца сквозил недостаток мастерства, а то, что он запечатлел, было несравнимо даже с самыми невероятными из ранних работ. То была летопись упадка древнего народа, в своем изгнании ожесточившегося против верхнего мира. Телесный упадок людей, изображенных в виде священных рептилий, все нарастал, но дух их расы, витавший над пустынными руинами в свете луны, становился сильнее. Истощенные жрецы, представленные рептилиями в вычурных одеяниях, слали проклятия земному воздуху наверху и всем, кто им дышал, а одна из последних, чудовищных сцен изображала примитивного вида человека, быть может, выходца из древнего Ирема, Города Колонн, разорванного на части существами старшей расы. Я вспоминал, как боятся арабы безымянного города, и был рад тому, что на этом сюжете роспись на стенах и потолке оборвалась.

Наблюдая страницы истории на этих стенах, я почти добрался до конца этой залы с низким потолком, и увидел врата, из которых исходило свечение. Подобравшись еще ближе, я закричал от изумления – настолько ошеломительным было зрелище, открывшееся мне. Не освещенные залы лежали передо мной, нет, то была единая, бескрайняя сияющая бездна, подобная морю облаков в лучах солнца, что может открыться тому, кто покорил вершину Эвереста. За моей спиной остался проход столь тесный, что я едва мог передвигаться ползком, а впереди лежал необъятный подземный сверкающий океан.

Вниз в эту бездну вела еще одна крутая лестница, подобная тем, по которым я уже спускался, но на глубине в несколько футов я уже не мог ничего разглядеть за мерцающей дымкой. По левую руку от меня была массивная, необычайно толстая дверь из бронзы, украшенная фантастическими барельефами, закрыв которую можно было отрезать весь этот подземный мир света от склепов и проходов, проложенных в скале. Еще раз взглянув на ступени, я не отважился идти по ним дальше. Коснувшись двери, я не сдвинул ее и на волос. Тогда я опустился на каменный пол: смертельная усталость одолевала меня, но даже она не могла унять мой бурлящий ум, полный самых невероятных предположений.

Так я лежал, закрыв глаза, предоставленный собственным мыслям, и многое из увиденного на фресках обретало новый, ужасный смысл – сцены, изображавшие безымянный город в дни его славы, зелень долины вокруг, далекие земли, куда ходили с караванами его купцы.

Аллегорические образы ползучих тварей не давали мне покоя, ведь их образы присутствовали на каждой из важнейших страниц истории, и я не мог понять почему. Безымянный город изображался так, словно был создан для рептилий. Я думал над тем, каковы были его настоящие размеры и как велик он был, и над загадками его руин, в которых побывал. Любопытным было то, что и храмы, и их коридоры были настолько низкими, и, без сомнений, те, кто создал их, подобным образом чтили богоподобных пресмыкающихся, передвигаясь в них так же, как и рептилии. Видимо, самая суть религиозных отправлений состояла в этой имитации. Но ни одна из теорий не объясняла того, почему и проходы меж залами были столь низкими, ведь там совершенно нельзя было выпрямиться. Страх вновь овладел мной, едва я вспомнил отвратительные мумии, что были совсем рядом. Разум порой рождает занятные ассоциации, и я задрожал при одной мысли о том, что помимо несчастного, разорванного на куски на той последней фреске, среди всех реликвий и следов доисторической эпохи лишь я один был человеком.

Но, по обыкновению, страх, гнездившийся в моем мятежном естестве, сменился любопытностью: сияющая бездна и то, что могло таиться в ней, было вызовом, достойным величайшего исследователя. Я не сомневался в том, что крутые ступени вели в мир загадок и тайн, и надеялся найти там памятники, созданные рукой человека, которые тщетно искал в темных проходах. Их стены украшали картины невероятных городов и долин здесь, в подземелье, и воображение уже рисовало мне картины колоссального великолепия руин, ожидавших там, внизу.

На самом деле, боялся я не будущего, а прошлого. Даже все кошмары моего пути ползком среди мертвых рептилий и допотопных фресок, на глубине многих миль под известным мне миром, приведшего меня в иной мир, мир туманного, призрачного света, не могли сравниться со смертным ужасом, что внушал мне древний дух этого места. Древний столь неизмеримо, что, казалось, им пропитаны были эти камни, эти храмы безымянного города, свидетеля времен океанов и континентов, забытых человечеством, но невероятным образом сохранившихся на стенах, где порой мелькали смутно знакомые очертания. О том, что случилось со времен написания последнего из этих полотен, после краха презиравшей смерть расы, не мог поведать никто из людей. В этих кавернах и в сверкающей подо мной пучине некогда бурлила жизнь, теперь же я был один среди памятников прошлого, и я дрожал при мысли о том, сколько бесчисленных веков они несли здесь свою безмолвную стражу.

Внезапно я вновь был сражен вспышкой ужаса, подобной тому, что объял меня при первом взгляде на смертную пустынную долину и безымянный город под холодной луной, и невзирая на изнеможение, я резко поднялся с пола, уставившись на черный туннель, уводивший наверх, к внешнему миру. Мной овладело то же предчувствие, как и в те ночи, когда я избегал городских стен, необъяснимое, не дававшее мне покоя. Мгновением позже я пережил еще большее потрясение, отчетливо услышав звук, нарушивший абсолютную, гробовую тишину, царившую в этих глубинах. Раздался стон, глубокий, гулкий, словно голос сонмища обреченных душ, исходивший оттуда, куда был устремлен мой взгляд. Он становился все громче, жутким эхом отзываясь в узких туннелях, и я ощутил нарастающий поток холодного воздуха, вероятно, струившегося из туннелей, что вели в город наверху. Его дуновение освежило меня, и я немедленно вспомнил о бурях, что поднимались над зевом подземной бездны, стоило солнцу закатиться или взойти над горизонтом, ведь именно этот ветер открыл мне тайну этих туннелей. Взглянув на часы, я понял, что близился рассвет, и приготовился выдержать ураганный натиск ветра, что стремился обратно, чтобы вечером вновь вырваться наружу. Страх мой приутился – явления природы развеяли мрачные мысли о неизведанном.

Все неистовее становился ночной ветер, струясь навстречу земным глубинам. Я пал ничком, вцепившись в дверь, из страха быть сметенным в сияющую бездну. Однако ветер был столь силен, что я и в самом деле мог сорваться в пропасть, и в воображении моем теснились все новые ужасные картины. Натиск разъяренной стихии порождал во мне неопишуемые чув-

ства, и вновь я сравнивал себя с тем несчастным на страшной фреске, растерзанным в клочья неведомой расой, ведь в демоническом шквале, что терзал мое тело, словно когтями, я ощущал мстительный гнев, порожденный его бесплодными усилиями. Остатки рассудка покидали меня – я яростно кричал, и крик этот тонул в завываниях призраков бури. Я пытался ползти, противиться убийственному течению, но безрезультатно – медленно и неотвратно я соскальзывал навстречу неизвестному. И вот уже разум мой сдался, и я, простершись ниц, вновь и вновь повторял загадочные строки безумца Альхазреда, кому город без имени являлся в кошмарах:

Не мертво то, что в вечности покой
Сумело обрести, со сменой эпох поправши саму смерть.

Одним лишь неумолимым, зловещим богам пустыни ведомо, что на самом деле случилось тогда, в минуты моей неопишуемой борьбы во тьме, какая преисподняя исторгла меня назад, в мир живых, где я никогда не смогу забыть, дрожа на ночном ветру, пока не уйду в забвение, или меня не поглотит нечто более ужасное. Чудовищным, невозможным, невероятным было то, что я видел, – неподвластным человеческому рассудку, разве лишь в самые черные, предрассветные часы бессонных ночей.

Я упомянул, что сила ветра была поистине адской, демонической, и в его отвратительном вое слышалась вся нескрываемая злоба времен, что канули в небытие. Этот хаотический сонм голосов в бесформенном потоке, бурлившем передо мной, мой пульсирующий мозг превращал в членораздельную речь, что звучала уже за моей спиной, и в той неизмеримо глубокой могиле, где бессчетные века покоились эти реликты, вне мира живых, где занималась заря, я услышал ужасные проклятия и нечеловеческий рык тварей. Обернувшись, над светящейся призрачной бездной я увидел силуэты, неразличимые во тьме туннеля – стремительный поток кошмарных, дьявольских тварей во всеоружии, чьи морды искажала ненависть, бесплотных демонов, что могли принадлежать лишь к одной расе – рептилий безымянного города.

Когда утихла буря, меня швырнуло навстречу омерзительной тьме земного чрева – за последней из тварей с лязгом затворилась великая дверь из бронзы, и оглушительный грохот металла возносился все выше, приветствуя взошедшее солнце, словно колоссы Мемнона на нильских берегах.

1921

Покинутый дом

Перевод В. Чарного

I

Ирония подчас присуща даже чему-то ужасному. Иногда она вплетается в канву происходящего, иной же раз проявляется в кажущейся случайности места действия и персонажей. Последнего сорта было нечто, случившееся в старинном Провиденсе, где в сороковых, в период бесплодных ухаживаний за даровитой поэтессой Уитмен, часто бывал Эдгар Аллан По. Обычно он останавливался в отеле «Мэншн-Хауз» на Бенефит-стрит, бывшем «Золотом шаре», под крышей которого доводилось ночевать Вашингтону, Джефферсону и Лафайету; излюбленный же его маршрут пролегал на север, к дому миссис Уитмен, соседствовавшему с кладбищем Святого Иоанна, что на склоне холма. В потаенном приволье среди надгробий восемнадцатого века он находил своеобразное очарование.

Ирония в том, что, столь часто следуя одним и тем же путем, величайший в мире мастер ужаса и необъяснимого проходил мимо дома на восточной стороне улицы: блеклого, обшарпанного, прилепившегося к крутому склону холма, с огромным запустелым двором, наследием тех лет, когда здесь была городская окраина. Он ни разу не писал о нем и не упоминал где-либо, и нет ни единого свидетельства тому, что он вообще его замечал. И все же дом этот для двоих людей, что знали нечто сокровенное, был сродни, или даже превосходил ужаснейшие из видений этого гения, так часто проходившего мимо в неведении, и так стоял он, воззрившись хищным взглядом окон, как символ невыразимого ужаса. Дом этот всегда привлекал, и привлекает по сию пору, всех любопытных. Поначалу бывший подобием фермерской постройки, он постепенно обрел черты, присущие архитектуре колониальной Новой Англии середины восемнадцатого века – благонадежного двухэтажного дома с островерхой крышей и мансардой без окон, георгианской дверью, изнутри обшитый панелями под диктовку моды тех времен. Щипцовый его фасад был обращен к югу, и по самые окна стены его утопали в земле на восточной стороне, на западной обнажая фундамент. Полтора века назад началась его постройка, постепенно меняясь, как и улица, на которой стоял, – ведь извилистую Бенефит-стрит, вначале называвшуюся Бэк-стрит, прокладывали меж кладбищами первопоселенцев, и спрямили, лишь когда тела были перезахоронены на Северном кладбище, проложив путь там, где были старые фамильные захоронения. Поначалу западная стена на крутом склоне отстояла от дороги футов на двадцать, но расширение улицы во времена революции обнажило самый фундамент, и потребовалось соорудить кирпичную подвальную стену, с дверью, ведущей из подвала на улицу, и двумя окнами над уровнем земли, выходящими на обновленную улицу. Столетие назад, при закладке тротуара, исчез последний остаток лужайки, и, проходя мимо, По, должно быть, видел лишь старинную серую скуку кирпича близ тротуара, вздымавшуюся над ним на шесть футов в обрамлении черепитчатой кровли. Подобный фермерским угольям сад уводил вверх, далеко по холму, почти к самой Уитон-стрит. Пространство к югу от дома, примыкавшее к Бенефит-стрит, располагалось высоко над тротуаром, образуя террасу, ограниченную высокой, влажной, замшелой мшистой каменной стеной, прорезанной крутой лестницей с узкими ступенями, шедшей наверх через этот каньон, к неухоженной лужайке, отсырелым кирпичным стенам и заброшенному саду с развалившимися цементными урнами, ржавыми котелками, упавшими с витых треног, и прочему хламу, служившему фоном для потрепанной непогодой входной двери с разбитым веерным окном, гнилыми ионическими пилястрами и треугольным фронтоном, изъеденным червями. Все, что мне доводилось слышать о покинутом доме

в дни моей юности, – что множество жильцов его скоропостижно скончались. Мне говорили, что подлинные владельцы покинули дом двадцать лет спустя после того, как построили его, именно по этой причине. Атмосфера в нем была нездоровой: быть может, из-за сырости и грибка в подвале, неприятного запаха, сквозняков в коридорах, плохой воды в колодце. Этого уже было вполне достаточно, чтобы заработать репутацию дурного места среди всех, кого я знал. Лишь среди записей моего дядюшки-антиквара, доктора Элихью Уиппла, открылись мне смутные, темные намеки, служившие основой для рассказней старейших из слуг да простого люда, никогда не покидавших округу и почти что забытых, стоило Провиденсу разрастись до метрополии, приняв множество переселенцев. Здравая часть здешнего общества никогда не считала, что в доме этом «нечисто». Не водилось ни слухов о гремящих цепях, ни о холодных сквозняках, тушивших свечи, ни о лицах за окнами. Самые смелые из предположений гласили, что дом «приносит неудачу», и ничего более. Но то, что немало людей умерли в этих стенах, не подлежало сомнению: пусть и давно, шестьдесят лет назад, случилось нечто настолько загадочное, после чего сдавать его внаем более не представлялось возможным, и с той поры в доме никто не жил. Смерть не настигала его жильцов внезапно – их постепенно покидали жизненные силы, и каждый умирал от той болезни, к которой был склонен. Те же из них, кто оставался в живых, страдали малокровием, чахоткой или помрачением рассудка, что говорило о нездоровой атмосфере в этом здании. Следует также упомянуть, что дома по соседству были совершенно лишены подобных губительных свойств.

Вот и все, что мне было известно, пока настойчивыми расспросами я не вынудил своего дядюшку показать мне его записи, которые и навели нас на след отвратительных тайн. Когда я был еще ребенком, в заброшенном доме никто не жил, и даже в саду с чахлыми, кривыми, страшными деревьями и бледной, болезненной травой вперемешку с отвратительными сорняками, никогда не водились птицы. Мальчишками мы играли в том саду, и все еще жив во мне тот детский страх не только перед пугающими, мерзкими зарослями, но и атмосферой чего-то чужого, самим воздухом этого дома, в незапертую дверь которого мы так часто входили в поисках острых ощущений. Оконные рамы с горбыльками были, по большей части, поломаны, и безмянный призрак запустения царил среди отваливающихся настенных панелей, расшатанных ставень, обоев, что висели ключьями, осыпающейся штукатурки, перекошенных лестниц и остатков потрепанной мебели, превращенной в руины. Свою лепту вносили и пыль с паутиной, и воистину храбрецом был мальчишка, по собственной воле взобравшийся по лестнице на огромный, с голыми стропилами, чердак, освещаемый лишь подслеповатыми оконцами под скатами крыши, забитый мешаниной кресел, сундуков и прялок под слоем пыли и паутины, придававшим этой горе рухляди устрашающий вид. Все же не чердак был самым страшным в этом доме. То был промозглый, сырой подвал, и именно он пробуждал в нас чувство столь сильного отвращения, несмотря на то что находился над землей со стороны людной улицы, отделенный от нее лишь кирпичной стеной с оконцами и хлипкой дверью. Мы и сами не знали, стоит ли искать там духов или держаться от него подальше ради спасения наших душ и сохранности рассудка. Во-первых, смрадный дух здесь ощущался сильнее, чем где бы то ни было в доме, а во-вторых, нас пугала белесая грибовидная поросль, появлявшаяся на земляном полу после летних дождей. Грибы эти, столь же причудливые, сколь сорняки в саду, были столь же омерзительны, будучи насмешкой природы над поганками и подъяльником, и подобных им мы больше не видели нигде. Они быстро загнивали, испуская белесоватое свечение, и запоздалые прохожие шептались о дьявольских огоньках, горевших за разбитыми окнами, источавшими зловоние. Никогда, даже в пору бесшабашности Дня Всех Святых, мы не осмеливались ступить туда ночью, но иногда, во время наших дневных вылазок мы видели это свечение, особенно если день выдавался сырым и неприятным. Также нам казалось, что мы видели что-то еще, чего не могли понять, нечто кажущееся, неуловимое. Я говорю о неких расплывчатых, смутных очертаниях на грязном полу, тонком слое плесени либо селитры, еле различимом среди грибов

у гигантского камина в подвальной кухне. Иногда нам казалось, что это походило на силуэт человека, скорчившегося на полу, хоть сходство и было туманным, и эти белесые контуры не всегда были различимы. В один из дождливых дней сходство было просто удивительным, и мне казалось, что я заметил тончайшие желтоватые испарения, поднимавшиеся в этом месте над полом и тянувшиеся к камину, о чем сообщил дядюшке. Он лишь улыбнулся мне, но в улыбке его сквозили раздумья. Много позже я слышал о схожем мотиве в жутких преданиях, ходивших среди простого люда, – о чудовищной тени, как дым, парившей над трубами дома, и вселяющих страх древесных корнях, проложивших себе путь в подвал через щели меж камней в фундаменте.

II

Я получил доступ к собранным дядюшкой заметкам и материалам о страшном доме лишь когда достиг совершеннолетия. Мой дядя, доктор Уиппл, был рассудительным и трезвым, человеком старой закалки, и несмотря на весь свой интерес к этому месту, не стремился утолять жажду открытий, владевшую зеленым юнцом. К делу он относился безо всякого налета сверхъестественности, определив состояние здания как не соответствующее санитарным нормам, однако сознавал, что необычайная примечательность данного места способна пробудить в мальчишеском живом уме самые невероятные ассоциации. Он был холостяком, седовласым, гладко выбритым и старомодным, известным знатоком истории здешних мест, не раз преломлявшим копье в научных спорах со столь противоречивыми хранителями традиций, как Сидни Райдер и Томас Бикнелл. Обитал он со своим слугой в георгианском особняке с дверным молотком и лестницей с железными перилами, воспарившем на круче Норт-Корт-стрит близ старинного здания суда, сложенного из кирпича, и колониального особняка, где его дед, приходившийся кузеном прославленному каперу, капитану Уипплу, потопившему таможенную шхуну Его Величества «Гэспи» в 1772 году, в день четвертого мая 1776 года голосовал за независимость колонии Род-Айленд. В сырой библиотеке с низким потолком, обшитой затхлыми белыми панелями, тяжеловесной полкой над камином и окнами с горбыльками, увитыми плющом, он хранил семейные реликвии и архивы, среди которых встречалось много двусмысленных упоминаний о покинутом доме на Бенефит-стрит. Это проклятое место лежало недалеко – Бенефит-стрит вилась по склону холма над зданием суда, взбегая наверх, где некогда жили первopоселенцы.

Когда наконец мои нескончаемые просьбы и пришедшая пора зрелости исторгли из дядюшки хранимые им тайны, мне открылась воистину необычайная история. Сколь тягостно долгой, изобиловавшей фактами, утомительно подробной ни была она, над всем этим скопищем фактов довлело чувство липкого, мрачного ужаса и невероятных злодеяний, посеявшее во мне много больше впечатлений, нежели в добром докторе. Различные события невероятным образом связывались воедино, а за малозначительными, на первый взгляд, деталями, таилась ужасная бездна возможных объяснений. Жажда знаний с новой страстью разгорелась во мне, и сила ее была такова, что мальчишеское любопытство меркло перед ней. Открывшееся мне вывело меня на путь изнурительных поисков, наконец завершившийся поистине ужасающим образом. Мой дядюшка настоял на том, чтобы присоединиться ко мне в моих исканиях, и после одной из ночей в том доме не вернулся назад. Мне очень одиноко без того, кто прожил столь честную, благородную и добродетельную жизнь в стремлении к знанию. На кладбище Святого Иоанна, которое так любил По, в потаенной роще среди огромных ив на склоне холма, меж тихих склепов и надгробий, что теснятся у старинной церкви, домов и стен Бенефит-стрит, в память о нем я воздвиг урну из мрамора.

В путаной веренице дат появляется первое упоминание о доме, но ни в истории его постройки, ни достопочтенного семейства, что возвело его, нет ничего ужасающего. И все же тень зла, что вскоре проявит себя, была уже заметна. Заметки дяди, подобранные с великим усердием, начинались от постройки здания в 1763 году, описывая каждый шаг тщательнейшим образом. Первыми хозяевами покинутого дома, по всей видимости, были Уильям Харрис со своей женой, Роби Декстер, и детьми: Эльканой, родившейся в 1755-м, Абигаиль, родившейся в 1757-м, Уильямом-младшим, рожденным в 1759-м, и Рут, родившейся в 1761 году. Харрис был человеком зажиточным, мореходом, акционером Вест-Индской торговой компании, имел связи с конторой Обедайи Брауна и его племянников. После смерти Брауна в 1761 году новый владелец конторы, Николас Браун, назначил его капитаном брига «Пруденс», построенного на деньги из городской казны, водоизмещением в 120 тонн, что позволило ему заняться построй-

кой собственного дома, о котором он мечтал с самого дня свадьбы. Место, выбранное им, лежало на участке у вновь проложенной, престижной Бэк-стрит, шедшей по склону холма над многолюдным Чипсайдом, и составляло предел его мечтаний, а построенный там дом соответствовал своему местоположению. Дом был лучшим из того, что мог позволить себе человек со скромным достатком, и Харрис спешно поселился в нем со своим семейством перед тем, как должен был родиться его пятый ребенок. Мальчик родился в декабре, но родился мертвым. С той поры и следующие полтора века никто из детей, рождавшихся в этом доме, не увидел света. В апреле дети чем-то заболели, и до конца месяца умерли Абигаиль и Рут. Доктор Джоб Айвс заключил, что причиной смерти явилась лихорадка, иные же предполагали, что причиной смерти было другое заболевание. Так или иначе, оно было заразным – Ханна Боуэн, одна из двух слуг, умерла в июне. Элай Лидсон, второй слуга, постоянно жаловался на слабость, и вернулся бы в Рехобот, на отцовскую ферму, если бы не Мехитабель Пирс, нанятая на замену Ханне. Он умер на следующий год – весьма печальный, так как тогда же не стало и Уильяма Харриса, здоровье которого подорвал климат Мартиники, где он по роду занятий провел почти десять лет. Овдовевшая Роби Харрис так и не оправилась от горестной утраты, и потеря Эльканы двумя годами позже стала для нее последним, умопомрачительным ударом. В 1768 году она была признана душевнобольной, и ей выделили комнату наверху, где и держали, пока ее старшая сестра, старая дева Мерси Декстер, приняла на себя домашние заботы. Мерси была простушкой, необычайно крепко сложенной, но этот переезд плохо сказался и на ее здоровье. Она была крайне привязана к своей злополучной сестре, и столь же сильно к племяннику Уильяму, единственному выжившему ребенку, из здорового мальчугана превратившемся в болезненного и хилого. В тот же год умерла служанка Мехитабель, другой же слуга, Смит, покинул дом без какой-либо веской причины – хотя ходили слухи, что виной всему был неприятный запах, стоявший в доме. Мерси на какое-то время осталась одна, и семь смертей вкупе с болезнью ее сестры за неполные пять лет стали пищей для сплетен и слухов, обраставших самыми невероятными подробностями. Ей, впрочем, удалось наконец нанять прислугу не из местных: Энн Уайт, замкнутую женщину из той части северного Кингстауна, что ныне зовется Эксетер, и умелого парня из Бостона по имени Зенас Лоу. Не кто иной, как Энн Уайт, стала основным источником жутких слухов. Мерси не следовало нанимать кого-то родом из округа Нуснек-Хилл, так как этот медвежий угол был и остается местом, где плодятся самые зловещие суеверия. Не так давно, в 1892 году, в Эксетерской общине эксгумировали мертвое тело и ритуально сожгли сердце усопшего, чтобы предотвратить последствия, губительные для общественного здоровья и покоя, и можно представить, каковы были тамошние нравы в 1768 году. Энн оказалась столь злоязычной, что не прошло и нескольких месяцев, как Мерси рассчитала ее, взяв на ее место Марию Роббинс, добродушную, преданную амазонку из Ньюпорта. Бедняжка Роби Харрис тем временем стала одержима ужасными видениями и кошмарами. Крики ее порой были настолько невыносимыми, что ее сына приходилось отправлять к кузену Пелегу Харрису на Пресвитериан-Лэйн, что рядом с новым зданием колледжа. После этих визитов мальчику становилось лучше, и будь Мерси столь же умна, сколь благонамеренна, она позволила бы ему остаться у Пелега насовсем. То, о чем кричала миссис Харрис во время очередного припадка, остается неясным, иначе говоря, сохранившиеся упоминания настолько абсурдны, что нелепо было бы принимать их на веру. Разумеется, немислимо предполагать, что женщина, едва владевшая азами французского, стала бы часами ругательски ругаться на этом языке, или, будучи одной в запертой комнате, жаловаться на то, что некая тварь устала на нее, терзая ее плоть. В 1772 году не стало Зенаса, и когда об этом узнала миссис Харрис, то зашла в припадке несвойственного ей истерического смеха, будто бы с облегчением. Еще через год и сама она отошла в мир иной, и ее похоронили рядом с мужем, на Северном кладбище.

В 1775 году, когда началась война с Великобританией, Уильям Харрис, несмотря на то, что ему едва минуло шестнадцать, и свое хилое сложение, добился принятия в ряды обсер-

вационной армии под началом генерала Грина, и с той поры на поправку пошли и его здоровье, и карьера. В 1780-м он уже нес службу в чине капитана в Род-Айлендской армии в Нью-Джерси, под командованием полковника Энджелла, где заключил брак с Фиби Хэтфилд, уроженкой Элизабеттауна, с которой и вернулся в Провиденс после своего почетного увольнения. Но возвращение юного офицера омрачалось некоторыми обстоятельствами. Дом все еще стоял крепко, и Бэк-стрит расширили, переименовав в Бенефит-стрит. Но некогда крепкая телом Мерси Декстер стала жалкой тенью самой себя, ссутулившись и одряхлев, голос ее утратил всякое выражение, а лицо теперь было отталкивающе бледным, точь-в-точь как у единственной служанки Марии. Осенью 1782 года у Фиби родилась мертвая девочка, а пятнадцатого мая следующего года пришло время работающей, добродетельной простушке Мерси Декстер покинуть мир живых. Теперь Уильям Харрис был окончательно убежден, что обиталище его пагубно влияло на здоровье домочадцев, и предпринял все возможное, чтобы расстаться с ним навсегда. Сняв номер в новеньком отеле «Золотой шар», он отдал распоряжения о строительстве нового, добротного дома на Вестминстер-стрит, в новом районе за Большим мостом. Там в 1785 году у него родился сын Дьюти, и семейство их обитало там до той поры, пока козни дельцов не вынудили их переселиться на Энджелл-стрит, в новый квартал на восточной стороне, где в 1876 году Арчер Харрис возвел свой огромный нелепый особняк во французском стиле. Уильям и Фиби не пережили эпидемию желтой лихорадки в 1797, и Дьюти рос на попечении своего кузена Рэтбоуна Харриса, приходившегося сыном Пелегу. Рэтбоун был человеком деловым и сдавал дом на Бенефит-стрит внаем, против воли покойного Уильяма. Он считал своим долгом извлечь максимальную выгоду для подопечного из принадлежавшей тому собственности, и его не заботили ни смерть, ни болезни, уносившие жизни обитателей дома, как и то, что дом вызывал у горожан все большее отвращение. Вероятно, что он не чувствовал ничего, кроме досады, когда городской совет постановил окурить дом серой, дегтем и камфарой по случаю бурного обсуждения горожанами четырех новых жертв, чьи жизни, предположительно, забрала эпидемия лихорадки, будучи на исходе. Говорили, что от дома разит лихорадкой. Сам Дьюти почти не вспоминал о доме, поскольку, возмужав, отправился на флот, где и служил с отличием на судне «Виджилант» под командованием капитана Кахуна в войне 1812 года. Оттуда он вернулся целым и невредимым, в 1814 году женился и стал отцом в памятную ночь 23 сентября 1815 года, когда небывалый шторм обрушил воды залива на город, загнав шлюп на самую Вестминстер-стрит, да так, что его мачты почти касались окон Харриса, как бы будучи символом того, что новорожденный, мальчик по имени Уэлком, был сыном моряка. Уэлкому не суждено было пережить отца – он геройски погиб под Фредериксбергом в 1862-м. Ни он, ни его сын, Арчер, не знали о жутком доме ничего, кроме того, что его было почти невозможно сдать, быть может, по причине затхлого воздуха и тошнотворного запаха, свойственных всему, что лишается ухода. В самом деле, в доме больше никто не селился после новой серии смертей, последняя из которых пришлась на 1861 год – в пору войны о них позабыли. Кэррингтон Харрис, последний из мужчин в роду, знал о доме лишь то, что он пустовал, будучи средоточием городских легенд, пока я не поведал ему о том, что мне суждено было пережить. Он собирался снести его, взамен построив многоквартирный дом, но после моего рассказа передумал, решив отреставрировать его и вновь сдавать в аренду. Отныне и впредь проблем с желающими поселиться в доме не возникало. Ужас покинул его навсегда.

III

Можно представить, насколько сильным было впечатление, которое произвели на меня архивы семейства Харрисов. Из канвы этих записей настойчиво выбивался мотив зла, чуждого всему, что мне было известно о природе вещей, зла, связанного именно с домом, а не с жильцами. Впечатление это усилилось после знакомства с материалами, менее тщательно систематизированными дядюшкой, – преданиями, записанными со слов прислуги, газетными вырезками, копиями свидетельств о смерти, предоставленными знакомыми врачами, и тому подобным. Не представляется возможным привести здесь весь объем этих материалов, ведь дядюшка мой собирал их, не ведая усталости, и интерес его к покинутому дому был крайне велик, но отметить несколько значимых фактов я могу, поскольку они повторяются в разных источниках. Например, слуги единогласно считали, что влияние зла ощущается в зловонии, исходившей из сырого подвала. Некоторые слуги, и в частности Энн Уайт, отказывались готовить пищу в подвальной кухне, и как минимум три подробных сообщения связаны с дьявольскими отпечатками в виде человеческого тела на подвальном полу, среди плесени и корней. Я был чрезвычайно заинтересован этими последними историями, так как сам встречался с подобным, будучи мальчишкой, но чувствовал, что самое важное в каждом подобном случае терялось среди наслоений местного фольклора. Энн Уайт, с характерной для уроженки Эксетера суеверностью, распространяла самые нелепые и в то же время самые последовательные слухи, заверяя всех, что под домом, должно быть, покоится один из древних вампиров, что поддерживают в себе жизнь, питаясь кровью и душами живых, насылая в их мир легионы призраков по ночам. Чтобы уничтожить такого вампира, как говорили бабки, нужно было выкопать его из земли, а затем сжечь его сердце, или хотя бы проткнуть колом, и упрямство, с которым Энн настаивала на том, чтобы разрыть подвал, послужило главным поводом избавиться от нее. К ее рассказам, однако, прислушивались многие, и многие верили в них, так как дом и в самом деле стоял на месте древнего захоронения. Для меня представляли интерес не сами сплетни, а то, как удивительно они вязались с некоторыми обстоятельствами – жалобами уцелевшего слуги Смита, работавшего по дому еще до Анны и никогда не видевшего ее, на то, что нечто «высасывало его душу» по ночам, свидетельствами о смерти жертв лихорадки за подписью доктора Чеда Хопкинса, где отмечалось, что у всех покойных беспричинно был снижен объем крови, и странными замечаниями о том, как в бреду бедняжке Роби Харрис чудились клыки, чей-то застывший взгляд и незримое присутствие. Несмотря на то что я начисто лишен суеверности, все это будило во мне странное чувство, усилившееся после изучения двух газетных заметок, значительно отстоявших друг от друга во времени: одна, из «Провиденс газетт» и «Кантри джорнал», датировалась 12 апреля 1815 года, другая, из «Дейли транскрипт» и «Кроникл» 27 октября 1845 года, и в каждой из них поразительно схожим образом упоминалось нечто весьма зловещее. В обоих случаях усопшие – в 1815 году то была скромная пожилая леди Стаффорд, в 1845-м – школьный учитель средних лет Элеазар Дарфи – перед смертью чудовищно, неузнаваемо преобразились, стеклянными глазами уставясь на доктора и пытаясь вцепиться ему в глотку. Еще более загадочным была череда событий, положившая конец попыткам сдать дом, – серия смертей, приписанных малокровию с прогрессирующим помешательством, и в каждом случае пациент покушался на жизнь своих близких, пытаясь перерезать им горло или запястья. Это происходило в 1860-м и 1861-м годах, когда дядя мой лишь приступил к практике, и, перед тем как уйти на фронт, он многое слышал о случившемся от своих старших коллег. То, чему не находилось никаких объяснений – как наниматели, будучи людьми необразованными (а иные не желали селиться в зловонном, избегаемом всеми доме), принимались бормотать ругательства на французском языке, владеть которым никак не могли. Вспоминались обстоятельства смерти злосчастной Робби Харрис больше ста лет назад, и это сходство сподвигло

моего дядю, по возвращении с войны, заняться сбором сведений, касающихся истории этого дома, в первую очередь из уст доктора Чейза и доктора Уитмарша. Я видел, что мой дядя был серьезно увлечен этим занятием, и радовался тому, что я также разделяю его интересы, сопереживая ему с готовностью выслушать, и потому он мог обсуждать со мной то, над чем иные бы просто посмеялись. Увлеченность его этим делом, однако, была много меньше моей, но он чувствовал, что это место обладало редкостной силой поэтического вдохновения и могло послужить источником такового для влекомых гротеском и ужасом.

Что касается меня, то я относился к делу со всей возможной серьезностью и немедленно приступил не только к изучению его архивов, но и сам принялся за сбор всевозможных сведений. Я неоднократно вел беседы с престарелым Арчером Харрисом, в чьем владении тогда находился дом, вплоть до его кончины в 1916 году, и его сестрой, престарелой девицей Элис, получив от них лично подтверждение всем фактам, что удалось отыскать моему дяде. Когда же я спросил их, не было ли семейство, жившее в доме, каким-либо образом связано с Францией или французским языком, они признались, что не слыхали ни о чем подобном, будучи так же удивлены, как и я. Арчер совершенно ничего не знал, а все, что вспомнила миссис Харрис, – некий туманный намек, услышанный когда-то ее дедом, Дьюти Харрисом, способный пролить свет на эту тайну. Старый моряк, переживший смерть погибшего на поле боя сына Уэлкома на два года, не знал той легенды, но вспоминал, что его первая нянька, древняя старуха Мария Роббинс, знала нечто, способное прояснить то, почему Роби Харрис бредила по-французски, так как часто слышала это в последние дни жизни несчастной. Мария жила в том доме с 1769 года до отъезда семейства в 1783-м и была свидетельницей кончины Мерси Декстер. Как-то она сообщила маленькому Дьюти некоторые странности в поведении Мерси незадолго до ее смерти, но тот позабыл все подробности, за исключением того, что зрелище было не из обыкновенных. Старухе Элис едва удалось вспомнить даже такую малость. Ни она, ни брат ее не были озабочены судьбой пустующего дома, как сын Арчера, Кэррингтон, его нынешний владелец, которому я нанес визит после того, что со мной произошло. Когда мой источник сведений в виде семьи Харрисов иссяк, я обратился к городским архивным записям и купчим, проявив намного большее усердие, нежели в свое время мой дядя. Я хотел изучить историю места, где был построен дом, вплоть до первого поселения 1636 года, или даже раньше, если бы мне удалось отыскать какую-либо подходящую легенду индейцев-нарагансеттов. Вначале я обнаружил, что земля эта была частью надела, принадлежавшего Джону Трокмортону, подобного тем, что полосой шли от Таун-стрит у реки на самый холм, до нынешней Хоуп-стрит. Надел этот в последующем был еще не раз поделен, и я тщательно проследил его историю до момента появления Бэк-стрит. Встречались упоминания о том, что там было кладбище семьи Трокмортон, но при более пристальном изучении архивов мне стало ясно, что их всех перезахоронили на Северном кладбище на Потакет-Уэст-роуд. Благодаря исключительному везению (запись эта не была приложена к остальным, и ее нетрудно было не заметить), я наткнулся на то, что разожгло во мне еще большее любопытство, подобное тому, которое вызывали самые необычные детали всей этой истории. То был договор, согласно которому некоему Этьену Руле с женой отдавался на откуп небольшой земельный надел. Наконец появилась хоть какая-то зацепка, связанная с французами, а затем и еще одно ужасное открытие, связанное с историей этого имени, всплывшее из бездны моих монотонных исканий, и я судорожно принялся за изучение плана местности до перепланировки Бэк-стрит между 1747-м и 1758-м годами. Мне удалось найти то, чего я отчасти ожидал, – на месте, где был построен зловещный дом, на заднем дворе их одноэтажного домика с чердаком, было семейное захоронение Руле, и не было ни одного упоминания о том, что тела перезахоронили. Последние записи в этом документе разобрать не представлялось возможным, и я был вынужден совершить набег на Историческое общество Род-Айленда и библиотеку Шепли. Фамилия Руле наконец послужила мне ключом к открытию еще одной тайны, настолько чудовищной и значительной, что я немедленно

отправился исследовать подвал таинственного дома. Семейство Руле, по-видимому, прибыло на эти земли в 1696 году из Ист-Гринвича, что на западном берегу бухты Наррагансетт. Они были гугенотами родом из Кода и встретились с крайним недружелюбием со стороны местных жителей, прежде чем получили разрешение от членов городской управы. Подобным образом к ним относились и в Ист-Гринвиче, куда они прибыли в 1686-м, после отмены Нантского эдикта, и молва гласила, что за этим стояло нечто большее, нежели обыденные расовые и национальные предрассудки или земельные распри, в которых участвовали переселенцы-французы и англичане и конец которым не мог положить даже губернатор Андрос. Их протестантская набожность, чрезмерная, по мнению некоторых, и неприкрытая нужда – их буквально согнали с прежнего места жительства – помогли им обрести здесь приют, и темнолицый Этьен Руле, менее сведущий в земледелии, чем в чтении странных книг и начертании странных диаграмм, получил канцелярскую должность на складе верфи Пардона Тиллингаста, поодаль, в южной части города, на Таун-стрит. Примерно сорок лет спустя, уже после смерти старика Руле, после некоего бунта, или чего-то в этом роде, о семействе этом больше никто не слышал. Все же больше века фамилия Руле была предметом разговоров и слухов в размеренной повседневной жизни этого портового города Новой Англии. Угрюмый сын Этьена, Поль, чьи выходки, видимо, повлекли за собой исчезновение всего семейства, был главным объектом сплетен, и хотя жители Провиденса никогда не разделяли пуританских взглядов своих соседей на ведьмовство, старухи шептались, что молится он не в то время и не тому, кому следует. Все это и послужило основой для того, что было известно старухе Марии Роббинс. Как это было связано с тем, о чем бредила Роби Харрис и иные жильцы злополучного дома, можно было либо додумать, либо ждать дальнейших открытий. Я подумал о том, кому еще из тех, кто знал эти легенды, могло, как и мне, заядлому искателю, открыться это жуткое связующее звено – мрачная, полная ужаса история Жака Руле из местечка Код, в 1598 году приговоренного к смертной казни за сношения с дьяволом, но оправданного парижским парламентом, спасенного от костра и помещенного в дом умалишенных. Его нашли в лесу, покрытого кровью и ошметками чужой плоти, вскоре после того, как два волка, одному из которых удалось уйти невредимым, растерзали мальчика. Сказка родом из тех, что слушают ночью у огня, герой и место действия которой удивительным образом совпали с уже известным мне, но я заключил, что сплетники Провиденса не могли этого знать. Если бы знали, это повлекло бы за собой немедленную и жестокую кару: в самом деле, не слухи ли стали причиной расправы, в итоге не оставившей и следа от семьи Руле?

Все чаще теперь я навевывался в этот проклятый дом, изучая болезненную поросль в саду, осматривая стены постройки, исследуя каждый дюйм подвала. Наконец, с дозволения Кэррингтона Харриса, я подобрал ключ, отпиравший дверь, что вела из подвала прямо на Бенефит-стрит, предпочитая сразу выходить на улицу, минуя темную лестницу, первый этаж и парадную дверь. Там, в средоточии этой заразы, я рыскал долгими днями, пока сквозь опутанную паутиной дверь, ведущую наружу, на безмятежную улицу, мне светили лучи солнца. Мои усилия не удостоивались награды – я не обнаружил ничего, кроме гнетущей сырости, едва различимого зловонного запаха и следов на полу, и должно быть, я стал предметом забавы не одного пешехода, что наблюдал за мной через разбитые стекла. Спустя некоторое время по совету дядюшки я решил отправиться туда ночью, и в одну из ночей, когда бушевала гроза, луч моего электрического фонарика осветил заплесневелый пол с жуткими силуэтами и слабо светящимися, уродливыми грибами. Той ночью подвал оказал на меня особенно удручающее воздействие, и я был почти готов к тому, что увидел (или мне показалось, что я что-то видел) паразитально отчетливый силуэт, скорчившееся тело из детских воспоминаний. То, как ясно я его различал, было просто невероятно, и разглядывая его, я снова видел тончайшие, желтоватые, дрожащие испарения, так пугавшие меня много лет назад в дождливые дни. Они поднимались над силуэтом, по форме напомиравшим человека, у самого камина, эти еле заметные,

тошнотворные, едва светящиеся испарения, висевшие во влажном воздухе и принимавшие странные формы, испаряясь в черноте камина и оставляя смрадный запах. Это было воистину ужасное зрелище, а для меня вдвойне, так как я знал, что находилось здесь когда-то. Я смотрел на то, как тает это облако, ощущая, что кто-то жадно смотрит на меня в ответ воображаемыми глазами. Когда я сообщил об этом дядюшке, он пришел в состояние крайнего возбуждения, прочитал мне лекцию длиной в целый час, а затем принял решение. Взвесив всю важность этого дела и значимость нашего в нем участия, он настоял на том, что мы оба должны бросить вызов, а если представится возможность, то и уничтожить то ужасное, что таил дом, оставшись в этом промозгом, заросшем грибами подвале на ночь или несколько.

IV

В среду, 25 июня 1919 года, должным образом уведомив Кэррингтона Харриса, но умолчав о подробностях нашего расследования, я и мой дядя перенесли в заброшенный дом два походных стула и раскладную кушетку, а также множество тяжелой научной аппаратуры, представлявшей большую ценность. В течение дня мы разместили все это в подвале, оклеив окна бумагой в расчете вернуться сюда вечером на первую нашу стражу. Мы заперли дверь, ведущую из подвала в дом, у нас имелся ключ от двери на улицу, так что мы были готовы оставить здесь все наши хитроумные приборы, которые мы раздобыли втайне и за немалые деньги и которые должны были служить нам, пока идут дни нашего бдения. Решено было сторожить вдвоем, пока совсем не стемнеет, затем до зари, посменно, по два часа – я вызвался быть первым, пока мой дядя отдыхал на кушетке. Мой дядюшка от природы был человеком инициативным, добыв инвентарий из лабораторий университета Браун и арсенала на Крэнстон-стрит, задавая направление нашим исследованиям, и все это как нельзя лучше характеризовало состояние духа и тела, в котором пребывал этот восьмидесятилетний мужчина. Элихью Уиппл жил, придерживаясь правил гигиены, присущих его профессии, и не случись несчастья, и по сей день пребывал бы в добром здравии. Лишь два человека догадывались об истинной стороне произошедшего – я и Кэррингтон Харрис. Я вынужден был поведать ему обо всем, что случилось тогда, ведь он был владельцем дома и имел право знать, что было изгнано оттуда в ту ночь. Кроме того, мы обсудили с ним наше предприятие, и после того, как не стало моего дяди, я доверился ему, зная, что он поймет меня и сделает необходимые заявления для общественной огласки произошедшего. Он побледнел, но согласился помочь мне, решив, что теперь дом можно безопасно сдавать в аренду.

Утверждать, что мы не испытывали ни тени беспокойства той дождливой ночью, значило бы утаить правду. Мы ни в коем случае не были одержимы детскими суевериями, но были научены опытом наших исканий и рассуждений, что известная нам трехмерная вселенная представляет собой лишь крохотную частицу всего космического вещества с его энергией. В нашем деле изобилие свидетельств, полученных из надежных источников, упрямо указывало на вмешательство великих сил, бывших, с точки зрения человека, средоточием великого зла. Сказать, что мы верили в существование вампиров или оборотней, значит сделать слишком обобщенный вывод. Напротив, следует уточнить, что мы не отрицали наличия неизвестных и неклассифицированных сущностей, наделенных жизненной силой и материальной формой, в трехмерном пространстве находящихся редко из-за более тонкой связи с пространственными единицами, но все же близкие нашему миру настолько, чтобы периодически являть себя в манифестациях, которые мы, за неимением преимуществ, как наблюдатели, можем никогда не понять. Говоря вкратце, мне и моему дядюшке наличие столь неоспоримых фактов указывало на длительно существующее в доме нечто, появлением два века назад обязанное злокозненным французам-переселенцам и все еще проявлявшее себя благодаря неким, еще не открытым законам существования атомно-электронной материи. О том, что семейство Руле имело противоестественные связи с иными сферами бытия, у обычных людей вызывавших ужас и отвращение, свидетельствует исторический архив. Возможно ли, что погром тех лет вызвал сдвиг неких кинетических паттернов в дьявольском мозге одного или нескольких Руле, в особенности омерзительного Поля, таинственным образом пережившего умерщвленное тело и продолжавшего существовать в многомерном пространстве, функционируя благодаря вектору силы, заданному ненавистью разъяренной толпы? Подобное с точки зрения физических и биохимических процессов не было таким уж невозможным в свете новой науки с ее теорией относительности и межатомными взаимодействиями. Можно ясно представить себе враждебную субстанцию или форму существования энергии, аморфную или нет, поддерживающую жизнь,

неощутимо питаюсь жизненной силой и тканями живых людей, на которых паразитирует и с которыми иногда сливается полностью. Быть может, она обладает самостоятельным мышлением, или враждебность ее диктуется слепым инстинктом самосохранения. Так или иначе, подобная тварь, стоявшая на пути к исполнению нашего замысла, была нашим врагом, и избавиться от нее для любого мужчины означало исполнить свой долг перед людьми, их жизнью и рассудком. Нас озадачивало неведение относительно того, как могло проявить себя это создание. Никто из живущих не видел его, и почти никто не ощущал его осязаемого присутствия. Быть может, то была энергия самого проклятого дома – призрачная субстанция нематериального мира, или частично воплощенная, неведомая, пластичная масса, способная менять облик по собственной воле, переходя в жидкое, твердое, газообразное состояние или рассеиваясь на атомы. Антропоморфный силуэт на полу, желтое облако испарений, форма корней в рассказах старожилков – все предполагало связь с некой формой человеческой жизни, но как она могла проявить себя, утверждать с абсолютной уверенностью не мог никто.

Для борьбы с ней мы приспособили два устройства: аппарат Крукса с трубкой, энергия на которую подавалась мощными батареями, снабженный системой экранирования и отражателями на случай, если тварь окажется бесплотной и уязвимой лишь для лучистой энергии, также каждый из нас был вооружен армейским огнеметом, что использовались во время мировой войны, если тварь можно было поразить физически, материальным оружием. Подобно эскерским крестьянам, мы были готовы сжечь сердце твари, если бы таковое нашлось. Всю эту устрашающую технику мы разместили в подвале, в соответствии с местами для наблюдения и отдыха, рядом с камином, где на полу среди плесени проявлялся странный силуэт. Кстати, он был едва различим, когда мы занимались установкой оборудования и когда вернулись тем же вечером, чтобы приступить к нашим наблюдениям. На мгновение я усомнился в том, что я вообще видел, и видел ли отчетливо, но сразу вспомнил о местных легендах.

Наше бдение началось в десять вечера, когда переводят стрелки на часах, и мы не замечали ничего, что продвинуло бы нас в наших исканиях. Тусклый, рассеянный дождем, свет уличных фонарей проникал в подвал, и слабо фосфоресцировали мерзкие грибы на подвальном полу, освещая его отсыревшие каменные стены, давно без следа извести, влажный, зловонный, покрытый плесенью земляной пол с мерзопакостной порослью, сгнившие остатки того, что когда-то было мебелью, массивные доски и балки первого этажа над нашими головами, хлипкую дощатую дверь, ведущую в кладовки и помещения под остальной частью дома, разваливающуюся каменную лестницу с поломанными деревянными перилами и грубо сложенный камин, в разверстой, обугленной кирпичной пасти которого покоились ржавые куски железа, некогда бывшие крюками, косой, краном, поленицей и печной дверцей; а также наши стулья и кушетку вместе со всей тяжеловесной, сложной и смертоносной аппаратурой. Как и в часы моих прошлых визитов, дверь на улицу мы оставили незапертой, чтобы иметь прямой путь к отступлению, если нам суждено будет столкнуться с тем, что окажется нам не по силам. Мы предполагали, что одно наше присутствие способно пробудить злое создание, затаившееся здесь, и были готовы расправиться с ним, используя весь арсенал наших средств, как только оно проявит себя. Неизвестно было лишь, как долго потребуется ждать появления твари. Угрозу, которой мы подвергались, нельзя было недооценивать – мы не знали, в каком виде перед нами появится это создание. Но игра стоила свеч, и мы приняли ее правила безо всяких сомнений, сознавая, что обратиться за помощью к кому-то со стороны означало сделаться объектом насмешек, если не сорвать все наши планы. В подобном расположении духа мы и вели нашу полночную беседу, пока моего дядю не стало клонить в сон, и мне пришлось напомнить ему, что пришла его очередь двухчасового сна. Чувство, подобное страху, овладевало мной, пока я пребывал в одиночестве в глухой ночи – я говорю «в одиночестве» потому, что сидящий рядом со спящим действительно одинок, возможно, больше, нежели способен представить. Мой дядя тяжело дышал: его вдоху и выдоху аккомпанировал дождь снаружи, и

где-то поблизости раздражающим акцентом слышался звук капающей воды, так как в доме был невыносимо сыро даже в самую сухую погоду, а разыгравшаяся непогода и вовсе превратила его в болото. Я изучал расшатанную старинную кладку стен в свечении грибов и слабых лучей, пробивавшихся с улицы сквозь окна, и когда тлетворный воздух подвала стал для меня совершенно невыносим, я открыл дверь и выглянул наружу, осматривая знакомые мне окрестности и жадно втягивая свежий воздух. Не произошло ничего, что могло бы вознаградить меня за часы ожидания, и я все чаще зевал, так как усталость мучила мой разум. Внезапно я заметил, сколь беспокойным был сон моего дядюшки. Он непрестанно ворочался на кушетке последние полчаса, а теперь его дыхание утратило привычный ритм, и время от времени он вздыхал, и звук этот походил не на вздохи, а скорее на сдавленные стенания. Я направил на него луч своего фонарика и увидел, что он лежит ко мне спиной, и я обошел кушетку, чтобы удостовериться в том, что ему ничего не угрожает. Увиденное неприятно поразило меня, несмотря на кажущуюся обыденность. Должно быть, это странное обстоятельство ассоциировалось у меня со злой вещью природой этого дома и нашей задачи, ведь само по себе оно не было ни пугающим, ни сверхъестественным. Лицо моего дяди, искаженное, взволнованное, без сомнения, отражало мучившие его кошмары, что было совершенно ему не свойственно. Обычно оно носило добродушное выражение покоя, сейчас же на нем читалась буря разнообразных чувств, охватившая его. Именно это разнообразие так встревожило меня. Мой дядя стонал и не мог найти себе места, и его глаза были полуоткрыты, и его лицо уже казалось принадлежащим не ему одному, а великому множеству людей, я же ощущал, что он словно сам не свой. Неожиданно он что-то проговорил, и меня поразило то, как менялся его рот и зубы. Сперва я не мог понять слов, но когда уловил что-то смутно знакомое, меня оледенил ужас, но я тут же вспомнил, какое образование он получил и как подолгу сживал за переводами статей по антропологии и древностям из *Revue des Deux Mondes*. Да, благородный Элихью Уиппл говорил по-французски, и некоторые понятные мне фразы, видимо, были почерпнуты им из статей о мрачайших преданиях, прочтенных им в знаменитом парижском журнале. Лоб спящего вдруг покрылся испариной, и он резко сел в постели, почти проснувшись. Мешанину французских слов сменили английские, и он хрипло вскричал: «Нечем дышать!». После этого он полностью пробудился, его лицо приобрело привычное выражение, дядюшка сжал мою руку и немедленно поведал мне содержание того, что видел во сне, об истинном же значении увиденного я мог лишь благоговейно догадываться.

По словам дяди, вначале ему снились самые обыкновенные сны, сменившиеся таким кошмаром, подобного которому он не видывал ни в одной из прочтенных книг. Он находился в привычном мире людей, но мире искаженном, лишенном привычной плоскостной гармонии, где вещи вокруг сливались в невероятных, абсурдных сочетаниях. Происходящее напоминало беспорядочно наложенные одна на другую картины, как если бы пространство и время растворились друг в друге, смешавшись самым нелогичным образом. В этом калейдоскопе призрачных иллюзий иногда проступали отчетливые, если так можно назвать их, кадры, абсолютно не связанные между собой. Сначала дядя видел, как лежит в наспех вырытой яме, и над ним склоняются искаженные злобой лица в париках и треуголках. Затем он был в старинном доме, детали интерьера и жильцы которого беспрестанно исчезали и появлялись вновь, и он не мог четко видеть ни тех, ни других, ни даже очертаний комнаты, так как расположение окон и дверей постоянно менялось, как и предметы вокруг. Все это было загадочно, чертовски загадочно, и дядя говорил, будто стыдясь своих слов, из опасения, что ему не поверят, что во многих лицах он безошибочно различил характерные черты семейства Харрисов. Пока ему снился сон, его не покидало чувство удушья, словно кто-то чужой вторгся в его тело, пытаясь подчинить его жизненные функции себе. Я задрожал, подумав о том, какой трудной была борьба за жизнь между этим телом, столь много претерпевшим за восемьдесят лет, и неведомыми силами, способными ввергнуть в ужас и молодых, но успокоился при мысли о том, что сон оставался лишь

сном, и эти видения были вызваны переживаниями и трудами, выпавшими на нашу долю и отодвинувшими все иные наши дела и чаяния на второй план. Разговор с дядей притупил во мне чувство опасности, и вскоре я вновь начал зевать, поддаваясь сну. Дядя мой казался свежим и бодрым и с радостью принял вахту, несмотря на то, что кошмар заставил его проснуться намного раньше, чем окончились положенные два часа отдыха. Сон быстро сморил меня и был насыщен видениями самого жуткого рода. Я был во вселенской бездне одиночества, и всюду были враги, окружавшие мое узилище. Я был связан по рукам и ногам, во рту торчал кляп, и я слышал, как кричит толпа, что жаждет моей крови. Лицо дяди возникло передо мной, и я был напуган еще больше, нежели тогда, перед его пробуждением, все время пытаюсь закричать, но безуспешно. Сон мой не даровал мне отдыха, и я ни секунды ни сожалел о крике, эхом разнесшемся по подвалу, разрушив оковы сна и немедля вернув меня к реальности, где все, что я видел, было настоящим и отчетливым.

V

Я спал, повернувшись спиной к стулу, на котором сидел дядюшка, и пробудившись столь внезапно, я увидел лишь дверь на улицу, северное окно, стены, пол и потолок в северной части подвала, отпечатавшиеся в моем сознании с ужасной отчетливостью яркой вспышкой, затмившей и уличный свет, и свечение, исходившее от грибов. Свет в подвале был слабым, при нем нельзя было прочесть и строчки, но его хватало, чтобы различить тень, отбрасываемую мной и моей кушеткой, и он обладал желтоватым, пронзительным оттенком, будучи чем-то иным, нежели обыкновенный свет. Я видел все вокруг необычайно четко, несмотря на то что другие мои чувства притупились. В ушах моих все еще стояло эхо крика, разбудившего меня, и я ощущал омерзительный запах, стоявший в подвале. Мой разум был настороже, как и мои чувства, и подсказал, что вот-вот случится нечто жуткое, и я вскочил на ноги, бросившись к разрушительным орудиям, которые мы предусмотрительно оставили у камина. Я ужаснулся при мысли о том, что мне предстоит увидеть, ведь кричал мой дядя, и я не знал, от какой опасности мне предстоит защищать нас обоих.

Зрелище, представшее мне, было хуже самых безумных моих предположений. Есть ужас невыразимый, квинтэссенция кошмара, ужас того сорта, который мироздание приберегает для тех немногих несчастных, на кого пало проклятие. Из оплетенной грибницей земли струилось гниlostное свечение, желтоватое, болезнетворное, пузырившееся под самым потолком, сменяя облик с человеческого на звериный, и сквозь него я различал камин с трубой. Все оно было усеяно глазами, подобными волчьим, что глядели насмешливо, а складчатая голова, словно у насекомого, растворялась тоненьким туманным дымком, свернувшись отвратительными кольцами, едва достигнув камина. Я говорю, что видел эту тварь, но восстановить ее отталкивающий облик детально я смог лишь по памяти. Тогда же передо мной клубилось слабо светившееся облако мерзости, поглощающее и растворяющее нечто, к чему было приковано все мое внимание. То был мой дядя, почтенный Элихью Уиппл, весь почерневший, разлагающийся, несший какую-то околесицу, пытаясь вцепиться в меня когтями, с которых что-то сочилось, одержимый злом, которое породил этот ужас.

Только муштра спасла меня тогда от безумия. Я непрестанно тренировался, готовясь к чему-то подобному, и выжил лишь благодаря тому, что действовал бессознательно. Осознав, что пузырившаяся тварь не поддастся воздействию обычного оружия, я не притронулся к огнемету, лежавшему по левую руку от меня, а схватил аппарат Крукса, направив на это неуязвимое богохульное создание поток лучистой энергии, сильнейшей из подвластных человеку, искусно извлеченной им из недр земной природы. Появилась синеватая дымка, послышалось яростное шипение, и желтое свечение как будто ослабело. Но затем я убедился, что только цвет его чуть потускнел, и излучение не оказало ровным счетом никакого эффекта. В самом разгаре этого дьявольского зрелища произошло еще кое-что, отчего я вскричал и, спотыкаясь, бросился к двери, что вела на улицу, где было тихо, и никто не ведал, какую чудовищную тварь я выпустил в свет и сколько проклятий навлек на свою голову. В смешанном тусклом сине-желтом свечении фигура моего дядюшки претерпевала отвратительную метаморфозу, сходную с разжижением, сущность которой я не в состоянии описать, и на его исчезающем лице чужие лица сменяли друг друга. Подобное могло прийти в голову только безумцу. Он одновременно был дьяволом, толпой, склепом, карнавалом! Освещенное разноцветными, дрожащими лучами, это податливое лицо становилось дюжиной, нет, двумя, нет, сотней других, ухмыляясь на теле, оплывавшем, как воск, карикатурой тысячи лиц, знакомых и чужих. Я видел лица семьи Харрисов, мужские, женские, детей и взрослых, стариков и молодых, морщинистые и свежие. На миг мелькнула жалкая подделка миниатюры, изображавшей бедняжку Роби Харрис, которую я видел в музее школы проектирования, а вот проявился грубый облик Мерси Декстер, как на

портрете в доме Кэррингтона Харриса. Зрелище это было невообразимо жутким, и до последнего безумная смесь этих лиц, от слуги до младенца, сменяла друг друга, приближаясь к полу, где растекалась лужица зеленой гадости: казалось, что все они сражаются друг с другом, пытаясь сложить черты воедино, в доброе лицо моего дяди. Мне привычнее думать, что он еще был жив в тот миг, пытаюсь попрощаться со мной. Кажется, я даже исторг из пересохшей глотки слова прощания перед тем, как оказаться на улице, и за мной на мокрый от дождя тротуар из подвала тянулась струйка зеленой жижи.

Остальное я помню смутно, но помню, что кошмар не иссяк. На промозглой улице не было ни души, и никому в целом свете я не мог открыться. Бесцельно я брел на юг, мимо Колледж-Хилл и Атенеума, вниз по Хопкинс-стрит, через мост в деловой район, где на мою стражу встали высотные здания, подобно тому, как достижения современности хранят нас от бедствий из глубины веков. Влажная, серая заря занималась на востоке, осветив старинный холм с его благородными шпилями, и я почувствовал нечто, зовущее меня туда, где еще не был завершён мой ужасный труд. В конце концов я поддался ему и побрел назад, лишившийся шляпы, промокший, ослепленный утренним светом, чтобы вновь войти в ту жуткую дверь на Бенефит-стрит, которую оставил распахнутой настежь и которая болталась на петлях на виду у случайных прохожих, к которым я не смел обратиться. Зеленая жижа исчезла, впитавшись в покрытый плесенью пол. Перед камином больше не было и следа того скорчившегося силуэта. Я оглядел кушетку, стулья, приборы, забытую мной шляпу и желтую соломенную шляпу моего дяди. Смятение все еще владело мной, и я с трудом понимал, что случилось на самом деле, а что привиделось мне. Постепенно разум возобладал, и я осознал, что был свидетелем событий намного более ужасных, чем самые кошмарные сны. Я сел, попытавшись восстановить в деталях все произошедшее, насколько позволяло мне состояние моей психики, и понять, каким образом я могу покончить с тварью, если она и в самом деле была реальной. Она была нематериальна, не была сродни эфиру и не подчинялась законам человеческого разума. Что же это, как не диковинная эманация, вампирическая химера, которая, по поверьям эксетерских крестьян, таится на церковных кладбищах? Я знал, что это ключ к разгадке тайны, и вновь взглянул на пол у камина, где плесень и селитра принимали столь причудливый вид.

На то, чтобы продумать план действий, у меня ушло десять минут. Надев шляпу, я отправился домой, где принял ванну, подкрепился и заказал по телефону кирку, лопату, армейский противогаз и шесть бутылей серной кислоты с доставкой до двери проклятого дома на Бенефит-стрит на следующее утро. Сделав это, я попытался уснуть, и, потерпев неудачу, проводил часы за чтением и сочинительством пустых вирш, чтобы занять свой ум. В одиннадцать часов следующего дня я приступил к раскопкам. День выдался солнечным, и я был рад этому. Я работал в одиночку, хоть и боялся безымянного чудовища, так как поделиться этой тайной с кем-то было еще страшнее. С Харрисом я говорил лишь из крайней необходимости и еще потому, что он знал старинные легенды, а потому был склонен доверять мне. Разрывая черную, вонючую землю у очага, я наблюдал, как из-под заступа, что рассекал грибницу, сочилась вязкая, желтая сукровица, и я весь трясся при мысли о том, что мне предстоит обнаружить. Некоторые тайны земных глубин не для смертных глаз, и я покушался на одну из таковых. Руки мои дрожали, но я не останавливался, и вскоре стоял в полный рост на дне вырытой мной ямы. Углубив ее и расширив до шести квадратных футов, я почувствовал, как усилилось зловоние, и уже не сомневался в том, что встречу с адской тварью, чьи эманации отравляли все в этом доме на протяжении полутора веков. Я задавался вопросом: как она выглядит, какую форму имеет, из чего состоит, насколько она выросла за долгие годы паразитирования на чужой жизненной силе? По прошествии некоторого времени я выбрался из ямы, разбросав вырытую землю, и поставил бутылки с кислотой по бокам ямы, чтобы при необходимости мгновенно опорожнить их. После этого я отбрасывал землю лишь по другим краям ямы: работа пошла медленнее, и

я вынужден был надеть противогаз, так как зловоние все усиливалось. Я с трудом сохранял спокойствие, сознавая, сколь близок к тому, что таится на дне этой ямы.

Вдруг лопата моя уперлась во что-то, что было мягче земли. Я содрогнулся и едва не выскочил из ямы, из которой едва мог выглянуть. Собравшись с духом, при свете фонарика я откинул в сторону еще больше земли. То, что мне открылось, было тусклой, стекловидной поверхностью, подобием полупереваренной и полупрозрачной желеобразной массы. Я принялся копать дальше и обнаружил, что тварь имеет форму. Я явственно видел складку на теле этой твари, сложенном пополам. Она была огромна, по форме близка к цилиндрической, словно гигантскую бело-голубую печную трубу диаметром в два фута сложили пополам. Я продолжал копать, пока одним скачком не покинул яму, чтобы быть подальше от чудовища, лихорадочно опустошая тяжелые бутылки с кислотой в яму, в эту зияющую бездну, на немыслимую тварь, тело которой я увидел. Слепящий зелено-желтый вихрь яростно взвился над ямой после того, как кислота ушла вглубь, и зрелище это навсегда останется в моей памяти. Жители окрестностей до сих пор толкуют о «желтом дне», когда губительные испарения поднялись над городом после утечки заводских отходов в реку Провиденс, но я-то знаю, что они ошибаются, и причина в другом. Рассказывают также о чудовищном реве, раздававшемся в то же время, вероятно, из-за прорыва трубы, и вновь я не осмелюсь навести их на истинный путь. Я столкнулся с чем-то настолько ужасным, что удивлен, как мне вообще удалось остаться в живых. Я потерял сознание после того, как открыл четвертую бутылку с кислотой – смрадный воздух просочился под противогаз, но когда я очнулся, то увидел, что испарения исчезли. Я вылил в яму две оставшиеся бутылки без какого-либо эффекта и по прошествии некоторого времени почувствовал, что яму можно засыпать. Смеркалось, когда я заканчивал работу, и ужас покинул этот дом. Подвальный воздух уже не был таким сырым, и грибы, словно пепел, рассыпались по полу безвредным серым прахом. Одна из ужаснейших тайн земных глубин исчезла навеки, и если существует ад, в тот день он принял в свое лоно дьявольский дух этого нечестивого создания.

В последний раз я опустил свой заступ и впервые зарыдал, вспомнив своего дядю, и слезы мои падали в память о нем. Следующей весной ни бледные травы, ни болезненного вида сорняки не взошли на террасе в саду покинутого дома, и вскоре после этого Кэррингтон Харрис сдал его новым жильцам. Облик этого дома по-прежнему несет отпечаток сверхъестественного, но я очарован подобной загадочностью, и в душе моей чувство облегчения мешается с горечью утраты, ведь я знаю, что его снесут в угоду безвкусной лавчонке или вульгарному домишке.

На старых, бесплодных деревьях в саду завязались сладкие, маленькие яблоки, и в прошлом году птицы свили гнезда в их переплетенных ветвях.

1924

Модель Пикмана

Перевод Л. Бриловой

Не посчитай, что я спятил, Элиот, на свете встречаются люди и не с такими причудами. Вот дедушка Оливера никогда не ездит в автомобилях – что б тебе и над ним не посмеяться? Ну не по душе мне треклятая подземка, так это мое личное дело, к тому же мы гораздо быстрее добрались на такси. А иначе вышли бы на Парк-стрит и потом тащились пешком в гору.

Согласен, при нашей встрече в прошлом году я не был таким дерганым, но нервы – это одно, а душевная болезнь – совсем другое. Видит бог, причин было более чем достаточно, и если я сохранил здравый рассудок, то мне, можно сказать, повезло. Да что ты, в самом деле, пристал как с ножом к горлу? Прежде ты не был таким любопытным.

Ну ладно, если тебе так приспичило, слушай. Наверное, ты имеешь право знать, ты ведь писал мне, беспокоился, прямо как отец родной, когда я перестал посещать клуб любителей живописи и порвал с Пикманом. Теперь, после того как он исчез, я порой бываю в клубе, но нервы у меня уже не те.

Нет, я понятия не имею, что случилось с Пикманом, не хочу даже и гадать. Тебе, наверное, приходило в голову, что я прекратил с ним общаться неспроста, мне кое-что о нем известно. Именно поэтому мне не хочется даже задумываться о том, куда он подевался. Пусть выясняет полиция в меру своих возможностей, да только что они могут – они не знают даже про дом в Норт-Энде, который он снял под фамилией Питерс. Не уверен, что и сам найду его снова, да и не стану пытаться, даже при дневном свете! Зачем этот дом ему понадобился, мне известно – вернее, боюсь, что известно. Об этом речь впереди. И, думаю, еще до окончания рассказа ты поймешь, почему я не обращаюсь в полицию. Они захотят, чтобы я их туда отвел, но даже если бы я вспомнил дорогу, у меня не пойдут ноги. Там было такое... отчего я теперь не спускаюсь ни в метро, ни в подвалы – так что смейся, если тебе угодно.

Ты, конечно, знал еще тогда, что я порвал с Пикманом совсем не из-за тех глупостей, которые ему ставили в вину эти вздорные ханжи вроде доктора Рейда, Джо Майнота или Босуорта. Меня ничуть не шокирует мрачное искусство; если у человека есть дар, как у Пикмана, то, какого бы направления в искусстве он ни придерживался, я горжусь знакомством с ним. В Бостоне не было живописца лучше, чем Ричард Аптон Пикман. Я говорил это с самого начала, повторяю и теперь; я не колебался и в тот раз, когда он выставил эту самую «Трапезу гуля». Тогда, если помнишь, от него отвернулся Майнот.

Чтобы творить на уровне Пикмана, требуются большое мастерство и глубокое понимание Природы. Какой-нибудь малеватель журнальных обложек наляпает там-сям ярких красок и назовет это кошмаром, или шабашем ведьм, или портретом дьявола, но только большой художник сумеет сделать такую картину на самом деле страшной и убедительной. Ибо лишь истинному художнику известна настоящая анатомия ужасного, физиология страха: с помощью каких линий и пропорций затронуть наши подспудные инстинкты, наследственную память о страхе; к каким обратиться цветовым контрастам и световым эффектам, дабы воспрянуло ото сна наше ощущение потусторонней угрозы. Излишне тебе рассказывать, почему картины Фюсли действительно вызывают трепет, а глядя на обложку дешевой книжки-страшилки, захочешь разве что посмеяться. Подобные люди умеют уловить нечто эдакое... нездешнее и дать и нам на миг это почувствовать. Этим умением владел Доре. Им сейчас владеет Сайм. Ангарола из Чикаго. Пикман владел им как никто другой до него и – дай бог – никто не будет владеть после.

Что они такое видят – не спрашивай. Знаешь, в обычном искусстве существует принципиальное различие между живыми, дышащими картинами, написанными с натуры или с модели, и убогими поделками, которые всякая мелюзга корысти ради штампует по стандарту

в пустой студии. А вот подлинный мастер фантастической живописи, скажу я тебе, обладает неким видением, способностью создать в уме модель или сцену из призрачного мира, где он обитает. Так или иначе, картины Пикмана отличались от сладеньких придумок иных шарлатанов приблизительно так же, как творения художников, пишущих с натуры, от стряпни карикатуриста-заочника. Видеть бы мне то, что видел Пикман... но нет! Прежде чем вникнуть глубже, давай-ка опрокинем по стаканчику. Бог мой, да меня бы уже не было на этом свете, если бы я видел то же, что этот человек – вот только человек ли он?

Как ты помнишь, сильной стороной Пикмана было изображение лиц. Со времен Гойи он был единственный, кто умел создавать такие дьявольские физиономии и гримасы. Из предшественников Гойи этим мастерством владели средневековые искусники, создавшие горгулий и химер для собора Нотр-Дам и аббатства Мон-Сен-Мишель. Они верили во всякую всячину, а быть может, и *видели* эту всякую всячину: в истории Средневековья бывали очень странные периоды. Помню, как ты сам за год до своего отъезда спросил однажды Пикмана, откуда, черт возьми, он заимствует подобные идеи и образы. И разве не гнусный смешок ты услышал в ответ? Отчасти из-за этого смеха с Пикманом порвал Рейд. Он, как тебе известно, занялся недавно сравнительной патологией и теперь, кичась своей осведомленностью, рассуждает о том, что значат с точки зрения биологии и теории эволюции те или иные психологические и физические симптомы. Рейд говорил, что Пикман с каждым днем все больше отвращал его, а под конец чуть ли не пугал, что в его внешности и повадках появилось что-то мерзкое, нечеловеческое. Он много разглагольствовал о питании и сделал вывод, что Пикман наверняка завел себе необычные, в высшей степени извращенные привычки. Догадываюсь: если вы с Рейдом упоминали Пикмана в своей переписке, ты наверняка предположил, что Рейд просто насмотрелся картин Пикмана и у него разыгралось воображение. Я и сам как-то раз ему это сказал... в ту пору.

Но имей в виду, что я не порвал бы с Пикманом из-за его картин. Напротив, я все больше им восхищался: «Трапеза гуля» – это настоящий шедевр. Ты знаешь, конечно, что клуб отказался ее выставить, а Музей изящных искусств не принял в дар. Могу добавить: картину к тому же никто не купил, и она оставалась у Пикмана вплоть до того дня, когда он исчез. Теперь она у его отца в Салеме: тебе ведь известно, что Пикман происходит из старинного салемского рода; в 1692 году одна из его представительниц была повешена как ведьма.

Я частенько заглядывал к Пикману, особенно когда стал собирать материал для монографии о фантастическом жанре в искусстве. Скорее всего, именно эта картина навела меня на мысль к нему обратиться. Так или иначе, оказалось, что он просто кладезь сведений и идей. Пикман познакомил меня со всеми, что у него имелись, картинами и рисунками в этом жанре, и, ей-богу, если бы о них стало известно в клубе, его бы в два счета оттуда выкинули. Очень скоро он убедил меня и увлек; часами, как школьник, я выслушивал его дикие суждения об искусстве и философские теории, с какими прямая дорога в Данверский сумасшедший дом. Я смотрел на него как на идола, тогда как другие все больше его сторонились, и потому он стал мне доверять; однажды вечером он намекнул, что, если я пообещаю помалкивать и держать себя в руках, он покажет мне что-то необычное – такого я у него в доме еще не видел.

«Знаешь, – сказал он, – иные замыслы на Ньюбери-стрит непредставимы, да они здесь и не смогут возникнуть. Моя задача – ловить обертоны души, а откуда им взяться на ненатуральных улицах, в искусственном окружении? Бэк-Бэй – это не Бостон, Бэк-Бэй – это пока ничто, он слишком недавний, чтобы пропитаться воспоминаниями и обзавестись местными духами. Если здесь и водятся призраки, то это ручные духи приморских низин и мелководных бухточек, а мне нужны человеческие призраки – призраки существ высокоорганизованных, видевших геенну огненную и осознавших, что им открылось.

Художнику место в Норт-Энде. Эстету, если он истинный эстет, следует переехать в трущобы, где сохраняется множество традиций. Бог мой! Неужто не понятно, что такие места

не были построены, а *выросли* сами по себе? Там жили, чувствовали, умирали поколение за поколением – в те времена, когда люди не боялись жить, чувствовать и умирать. Тебе известно, что в 1632 году на Коппис-Хилле находилась мельница и что добрая половина нынешних улиц была заложена в 1650 году? Я покажу тебе дома, которые простояли два с половиной века и больше, дома, повидавшие такое, от чего современный дом рассыпался бы в пыль. Что им, современным, известно о жизни и о силах, что за нею стоят? Ты говоришь, будто салемиские ведьмы выдумка, но не сомневаюсь, моя прапрапрабабушка рассказала бы тебе много интересного. Ее вздернули на Висельном холме, под взглядом этого ханжи, Коттона Мэзера. Чего больше всего боялся треклятый Мэзер, так это как бы кто-нибудь не выбрался за окаймленные рамки обыденности. Жаль, никто его не околдовал и не высосал ночью всю кровь!

Могу показать тебе его дом, и также другой, куда он боялся ступить, несмотря на все свои грозные речи. Ему было известно куда больше, чем он осмелился пересказать в своей дурацкой „Магналии“ или наивных „Чудесах незримого мира“. Слушай, а знаешь ли ты, что некогда под Норт-Эндром имелась сеть туннелей, соединявших разные дома и дававших тайный доступ на кладбище или к морю? Пусть на земле нас преследуют и гонят, под землю преследователям не проникнуть, откуда доносится ночами смех – не догадаться!

Из каждого десятка домов, что уцелели и стоят на своем месте с 1700 года, в восьми я берусь показать тебе в подполе кое-что интересное. Что ни месяц, читаешь в прессе: среди старых построек рабочие нашли то заделанную кирпичами арку, то колодец, ведущие неизвестно куда. Один такой дом, у Хенчман-стрит, был еще в прошлом году хорошо виден с эстакады надземки. Здесь прятались ведьмы, пираты, контрабандисты с добром, добытым при помощи колдовства и разбоя; говорю тебе, в старое время люди умели жить, умели раздвигать предписанные им границы. Людям было мало одного-единственного мира, умные и смелые шли дальше! А что сегодня? Сплошное размягчение мозгов: члены клуба, по идее знатоки, до дрожи пугаются, когда им показываешь картину, не отвечающую вкусам завсегдатаев чайных салонов на Бикон-стрит!

Единственное, чем хороши наши времена, – так это тем, что народ нынче слишком тупой, чтобы дотошно изучать прошлое. Что рассказывают о Норт-Энде карты, записи, путеводители? Тьфу! Да я не глядя берусь показать тебе три-четыре десятка переулков и кварталов к северу от Принс-стрит, не известных почти никому, кроме иностранцев, которых там видимо-невидимо. А всякие там итальяшки и прочие, разве они понимают, с чем имеют дело? Нет, Тербер, эти старинные местечки дремлют себе на роскошном ложе тайн, ужасов и необычных возможностей, и не найдется ни единой живой души, способной их понять и ими воспользоваться. То есть одна живая душа все же есть: в прошлом копаюсь я, и не первый день!

Слушай, ты же всем таким интересуешься. А если я скажу тебе, что завел там себе вторую студию, где охочусь за ночными призраками старинных страхов, где изображаю сюжеты, о которых на Ньюбери-стрит не решаюсь и думать? Разумеется, этих чертовых истеричек из клуба я не ставил в известность, в том числе и Рейда, чтоб он провалился. Придумал, тоже мне: я, мол, в своем роде чудовище, эволюционирую в обратную сторону. Да, Тербер, я давно уже понял: ужас так же заслуживает быть запечатленным в картинах, как и красота. Поэтому я взялся за розыски в тех местах, где, как я небезосновательно полагаю, обитает ужас.

Я нашел там местечко; из нынешних представителей нордической расы о нем, кроме меня, почти никто не знает. Если мерить расстояние, это в двух шагах от эстакады, но что касается истории человеческого духа, эти точки разделяют века и века. Мой выбор решило то, что в подвале имеется старый кирпичный колодец – из тех, о которых я говорил. Развалюха едва держится, так что других жильцов там не появится, а какие гроши я за нее плачу, стыдно и признаться. Окна заколочены, но тем лучше: для того, что я делаю, дневной свет нежелателен. Пишу я в подвале, где самая вдохновляющая атмосфера, но в моем распоряжении еще

несколько меблированных комнат на первом этаже. Хозяин – один сицилиец, я назвал его Питерсом.

Ну, если ты решился, отправляемся сегодня же вечером. Думаю, картины тебе понравятся: как уже было сказано, я дал себе волю, когда писал. Путь недалекий, иногда я даже добираюсь пешком; взять такси в такой район – значит привлечь к себе внимание. Можно доехать поездом от Саут-Стейшн до Бэттери-стрит, а там два шага пешком».

Что ж, Элиот, после этой речи мне ничего не оставалось, как только сделать над собой усилие, чтобы не бегом, а обычным шагом отправиться за первым, какой попадется, свободным кебом. На Саут-Стейшн мы сели в надземку и около полуночи, спустившись по ступеням на Бэттери-стрит, двинулись вдоль старой береговой линии мимо причала Конститьюшн. Я не следил за дорогой и не вспомню, в который мы свернули переулок, знаю только, что это был не Гриноу-лейн.

Наконец повернув, мы двинулись в горку по пустому переулку, старинней и обшарпанней которого я в жизни не видел; с фронтонов осыпалась краска, окна в частом переплете были побиты, остатки древних каминных труб сиротливо вырисовывались на фоне освещенного луной небосклона. Все дома, за исключением разве что двух-трех, стояли здесь еще со времен Коттона Мазера. Два раза мне попадались на глаза навесы, а однажды – островерхий силуэт крыши, какие были до мансардных, хотя местные знатоки древностей утверждают, будто таких в Бостоне не сохранилось.

Из этого переулка, освещенного тусклым фонарем, мы свернули в другой, где было так же тихо, дома стояли еще теснее, а фонарей не было вовсе. Через минуту-другую мы обогнули в темноте тупой угол дома по правую руку. Вскоре Пикман вынул электрический фонарик и осветил допотопную десятифиленчатую дверь, судя по всему, безнадежно источенную червями. Отперев ее, он провел меня в пустой коридор, отделанный роскошными некогда панелями из темного дуба – без особой, разумеется, затейливости в рисунке, но явственно напоминавшими о временах Эндроза, Фиппса и ведовства. Потом Пикман провел меня в комнату налево, зажег масляную лампу и предложил располагаться как дома.

Имей в виду, Элиот, я человек, что называется, искушенный, но, оглядев стены, признаюсь, оторопел. Там были картины Пикмана – те, которые на Ньюбери-стрит не только не напишешь, но даже не покажешь, и он был прав в том, что «дал себе волю». Ну-ка еще по стаканчику – мне, во всяком случае, позарез нужно выпить!

Не стану и пытаться описать тебе эти картины: от одного взгляда на них становилось дурно. Это был такой смердящий, кошунственный ужас, что язык тут бессилён. Ты не обнаружил бы в них ни причудливой техники, как у Сидни Сайма, ни устрашающих трансатлантических пейзажей и лунных грибов Кларка Эштона Смита. Задний план обычно составляли старые кладбища, лесные дебри, береговые утесы, кирпичные туннели, старинные комнаты, отделанные темным деревом, или просто каменные своды. Любимым местом действия было кладбище Коппс-Хилл, которое располагалось поблизости, в двух-трех кварталах.

Фигуры на переднем плане воплощали в себе безумие и уродство: Пикману особенно удавались мрачные, демонические портреты. Среди его персонажей было мало полноценных людей, их принадлежность к роду человеческому ограничивалась теми или иными отдельными чертами. Стояли они на двух ногах, но клонились вперед и слегка напоминали собак. Отталкивающего вида кожа походила во многих случаях на резину. Ну и мерзость! До сих пор они стоят у меня перед глазами! За какими занятиями они были изображены, в подробностях не выспрашивай. Обычно кормились, но чем – не скажу. Временами они были показаны группами на кладбище или в катакомбах, нередко – дерущимися из-за добычи, а вернее, из-за находок. И какую же дьявольскую выразительность Пикман умудрялся придать незрячим лицам их жертв! Его персонажи запрыгивали иной раз по ночам в открытые окна, сидели, скорчившись, на груди у спящих, тянулись к их шеям. На одной картине, изображавшей Висельный холм,

они окружали кольцом казненную ведьму, в лице которой прослеживалось явственное с ними сходство.

Но только не подумай, будто мне сделалось дурно от жутких сюжетов и антуража. Мне не три года, я всякого навиделся. Дело в их лицах, Элиот, в их треклятых лицах, что буквально жили на картине, бросая злобные взгляды и пуская слюни! Бог мой, они вправду казались живыми! Адское пламя, зажженное красками, бушевало на полотнах мерзкого колдуна; кисть его, обращенная в магический жезл, рождала на свет кошмары. Дай-ка, Элиот, мне графин!

Одна из картин называлась «Урок» – лучше бы мне никогда ее не видеть! Слушай... можешь вообразить кружок невиданных тварей, похожих на собак, что, сидя на корточках, учат малое дитя кормиться так же, как они? Наверное, это подмененный ребенок: помнишь старые рассказы о том, как таинственный народец крадет человеческих детей, оставляя взамен в колыбелях собственное отродье? Пикман показал, что случается с украденными детьми, как они вырастают, и после этого я начал замечать зловещее сходство в лицах людей и нелюдей. Показывая разные степени вырождения, от легких его признаков до откровенной потери человекоподобия, он глумливо протягивал между ними нить эволюции. Собаководные твари произошли от людей!

Я еще не успел задуматься о том, как бы он изобразил собственное отродье этих тварей, навязанных людям подменышей, как мой взгляд уперся в картину, отвечающую на этот вопрос. На ней было старинное пуританское жилище: мощные потолочные балки, окно с решетками, скамья со спинкой, громоздкая мебель семнадцатого века; семья сидела кружком, отец читал из Библии. Все лица выражали почтительное достоинство, лишь одно кривилось в дьявольской усмешке. Оно принадлежало человеку молодому, но уже не юноше, который явно находился здесь на правах сына набожного главы семейства, но на самом деле происходил от нечистого племени. Это был подменщик, и Пикман, в духе высшей иронии, придал ему заметное сходство с собой самим.

Пикман успел зажечь лампу в соседней комнате, открыл дверь и, любезно ее придерживая, спросил, хочу ли я взглянуть на его «современные этюды». От страха и отвращения мне отказал язык, и я ничего из себя не смог выдавить, но Пикман, похоже, понял меня и остался очень доволен. Заверяю тебя еще раз, Элиот: я вовсе не мимоза и не шарахаюсь от всего, что хоть чуточку расходится с привычными вкусами. Я не юноша и достаточно искушен; думаю, ты, зная меня по Франции, понимаешь, что такого человека не так-то легко выбить из колеи. Помни также, что я уже пришел в себя и кое-как притерпелся к ужасным холстам, на которых Новая Англия была представлена как какой-то придаток преисподней. Так вот, несмотря на это, в соседней комнате я невольно вскрикнул и схватился за дверь, чтобы не упасть. В первой комнате толпы гулей и ведьм переполняли мир наших предков, в этой же они вторгались в нашу повседневную жизнь!

Боже, что это была за живопись! Один этюд назывался «Происшествие в метро», там стая этих мерзких тварей выбиралась из неизвестных катакомб через трещину в полу станции под земки «Бойлстон-стрит» и нападала на людей на платформе. Другой изображал танцы среди надгробий на Коппс-Хилл, фон был современный. На нескольких дело происходило в подвалах; монстры протискивались через дыры и проломы в каменной кладке, сидели на корточках за бочками и печами и, злобно сверкая глазами, поджидали, пока спустится по лестнице первая жертва.

На одном полотне, самого отталкивающего вида, было представлено поперечное сечение холма Бикон-Хилл, пронизанного сетью ходов, в которых кишели, подобно муравьиным армиям, зловонные монстры. Неоднократно встречались изображения танцев на современных кладбищах, а один сюжет почему-то поразил меня больше остальных: в неведомом сводчатом помещении несколько десятков тварей теснились вокруг одной, которая, держа в руках популярный путеводитель по Бостону, очевидно, что-то зачитывала из него вслух. Все указывали

на один из ходов, морды были перекошены в пароксизме безудержного, оглушительного хохота – я почти что слышал его адское эхо. Название картины гласило: «Холмс, Лоуэлл и Лонгфелло покоятся на кладбище Маунт-Оберн».

Постепенно успокаиваясь и принаравливаясь к второй комнате с ее собранием демонов и рожденных больно́й фантазией сцен, я попытался понять, что меня особенно в них отвращало. Прежде всего, сказал я себе, создания Пикмана свидетельствуют о полном бессердечии их творца, о воображении, не обузданном никакими человеческими чувствами. Так упиваться муками разума и плоти, деградацией смертной оболочки человека мог только закоренелый враг рода людского. Во-вторых, картины вселяли тем больший ужас именно вследствие мастерского исполнения. Это искусство было на редкость убедительным – глядя на картину, ты видел подлинных демонов и трепетал перед ними. Странно было то, что Пикман словно бы ни о чем не умалчивал и ничто не искажал. В рисунке не было ничего расплывчатого, условного: четкий контур, жизнеподобие, педантично-подробная прорисовка. А лица!

Ты видел их не через призму восприятия художника – это был пандемониум как он есть, изображенный кристально ясно и объективно. Богом клянусь, это чистая правда! В Пикмане не было ничего от фантазера, сочинителя, он даже не пытался воплотить на полотне мимолетные образы сна – нет, он холодно и насмешливо фиксировал некий прочно устоявшийся механистический мир ужасов, который был открыт ему полностью, с ясностью, не допускавшей иных толкований. Одному Создателю известно, что это был за мир и где являлись Пикману богохульственные образы, передвигавшиеся по нему шагом, рысью или ползком, но, гадая о том, откуда они взялись, в одном можно было не сомневаться: во всех аспектах своего искусства – и в замысле, и в исполнении – Пикман был полным и добросовестным реалистом, опиравшимся едва ли не на научное знание.

Хозяин повел меня теперь в подвал, где, собственно, располагалась его студия, и я готовил себя к тому, чтобы обнаружить на его неоконченных полотнах новые дьявольские сюрпризы. Когда мы добрались до подножия осклизлой лестницы, Пикман осветил фонариком угол обширного пространства и луч уперся в круглое кирпичное сооружение – очевидно, большой колодец в земляном полу. Мы приблизились, и я разглядел, что он достигает в поперечнике футов пяти, стенки, толщиной в добрый фут, поднимаются над грунтом дюймов на шесть и сделан колодец весьма основательно – работа семнадцатого века, если не ошибаюсь. Пикман пояснил, что это как раз то, о чем он рассказывал: вход в сеть туннелей, которые в былые годы пронизывали холм. Я заметил между прочим, что колодец не заложен кирпичом, а прикрыт тяжелой деревянной крышкой. При мысли о том, что, если намеки Пикмана не были празднословием, через колодец можно попасть в места самые разные, меня пробрала легкая дрожь. Затем мы повернули, поднялись на одну ступеньку и, войдя в узкую дверь, оказались в довольно большой комнате с дощатым полом, оборудованной под студию. Ацетиленовая горелка давала достаточно света, чтобы можно было работать.

Неоконченные картины на мольбертах или у стен производили такое же отталкивающее впечатление, что и оконченные, которые я осмотрел наверху, и были так же тщательно выписаны. Наброски были подготовлены с большим старанием, карандашные линии свидетельствовали о том, что Пикман заботился о правильной перспективе и пропорциях. Он был великий художник – говорю это даже сейчас, когда мне многое стало известно. Я обратил внимание на большую фотокамеру на столе, и Пикман объяснил, что фотографирует сцены, которые собирается использовать как фон, чтобы рисовать их в студии с фотографий, а не выезжать со всеми принадлежностями на этюды. Пикман считал, что фотографии с успехом заменяют натуру или живую модель, и, по его словам, постоянно их использовал.

Мне было очень тревожно в окружении тошнотворных эскизов, наполовину законченных монстров, злобно паливших из всех углов, и, когда Пикман внезапно сдернул чехол с громадного полотна, которое стояло в тени, я – второй раз за вечер – не удержался от крика.

По темным сводам старинного душного подземелья побежало многократное эхо, и я едва не откликнулся на него истерическим хохотом. Боже милостивый, Элиот, я не знал, где здесь правда, а где больное воображение. Казалось, никто из обитателей нашей планеты не мог бы измыслить ничего подобного.

Это было нечто колоссальных размеров и кошунственного облика, с горящими красными глазами; оно держало в костистых лапах другое нечто, прежде бывшее человеком, и глодало его голову, как ребенок грызет леденец. Наклонная поза чудовища наводила на мысль, что оно вот-вот уронит свою добычу, чтобы устремиться за более сочным куском. Но, черт возьми, неудержимый, панический страх нагоняло не само это исчадие ада с его собачьей мордой, острыми ушами, налитыми кровью глазами, уплощенным носом и слюнявой пастью. Самым страшным были не чешуйчатые лапы, тело с налипшими комьями земли, не задние ноги с подобием копыт – хотя человеку впечатлительному хватило бы и всего перечисленного, чтобы повредиться в уме.

Дело было в живописи, Элиот, проклятой, нечестивой, противоестественной живописи! Богом клянусь, в жизни не видел такой живой картины, она буквально дышала. Чудовище сверкало глазами и вгрызалось в добычу, и я понимал: пока действуют законы природы, никто не способен создать подобную картину без модели; художник должен был хотя бы мельком заглянуть в нижний мир, куда имеет доступ лишь тот из смертных, кто продал душу дьяволу.

К свободному участку полотна был приколот кнопкой скрученный листок, и я предположил, что это фотография, с которой Пикман собирался писать фон, столь же кошмарный, что и передний план. Я потянулся к листку, чтобы расправить и рассмотреть, но тут Пикман вздрогнул, словно его подстрелили. С того мгновения, когда мой испуганный крик пробудил в темном подземелье непривычное эхо, Пикман не переставал напряженно прислушиваться, теперь же он явно испугался, хотя не так, как я: причина страха была реальная. Он вытащил револьвер, сделал мне знак молчать, шагнул в основное подвальное помещение и закрыл за собой дверь.

Похоже, меня на мгновение просто парализовало. Вслед за Пикманом я прислушался: откуда-то донесся вроде бы слабый топот, откуда-то еще – взвизги и жалобный вой. Подумав о гигантских крысах, я содрогнулся. Потом послышался приглушенный стук, от которого у меня по коже побежали мурашки. Он был какой-то неуверенный, вороватый – не спрашивай, что это значит, я не могу объяснить. Словно тяжелый деревянный предмет бился о камень или кирпич. Дерево о кирпич – понимаешь, что это мне напомнило?

Те же звуки, теперь громче. Перестук, словно деревяшка отлетела в сторону. Резкий скрежет, бессвязный выкрик Пикмана, шесть оглушительных выстрелов – так стреляет в воздух, ради пущего эффекта, цирковой укротитель. Приглушенный вой или визг, удар. Снова стук дерева о кирпич. Наступила тишина, и дверь открылась. Признаюсь, я дернулся так, что едва устоял на ногах. Вошел Пикман с дымящимся револьвером, кляня на чем свет зажавшихся крыс, что шныряют в старинном колодце.

«Черт разберет, Тербер, где они находят корм, – ухмыльнулся он. – Эти древние туннели сообщаются с кладбищем, логовом ведьм и морским побережьем. Как бы то ни было, они оголодали: им до чертиков хотелось выбраться наружу. Наверно, их потревожил твой крик. В этих старинных домах все бы хорошо, если б не соседство грызунов, хотя временами мне думается, для атмосферы и колорита они не лишние».

Ну вот, Элиот, на том и завершилось наше ночное приключение. Пикман обещал показать мне дом и, видит небо, выполнил это обещание сполна. Обрато он повел меня через лабиринт переулков, вроде бы в другую сторону: первый фонарь я увидел на полупознакомой улице с однообразными рядами современных многоквартирных строений и старых домов. Это была Чартер-стрит, но откуда мы на нее вывернули, я не заметил, потому что голова у меня шла кругом. На поезд мы уже опоздали, пришлось идти пешком по Хановер-стрит. Этот путь

мне запомнился. Мы шли по Тримонт, потом по Бикон; на углу Джой я простился с Пикманом и свернул за угол. После этого я и словом с ним не перемолвился.

Почему я с ним порвал? Не торопи события. Погоди, я позвоню, чтобы принесли кофе. Мы уже изрядно нагрузились другим напитком, но что касается меня, мне это было необходимо. Нет, дело не в картинах, которые я видел в студии, хотя из-за них Пикмана подвергли бы остракизму чуть ли не во всех домах и клубах Бостона; и, думаю, тебя больше не удивляет, что я избегаю метро и всяческих подвалов. Виною разрыва был один предмет, который я на следующее утро обнаружил у себя в кармане куртки. Ты ведь помнишь: к жуткому полотну в подполе был прикноплен свернутый листок, и я подумал, что это фотография, с которой Пикман собирался писать фон для своего чудовища. Когда произошел переполох, я как раз разворачивал бумажку и, наверное, машинально затолкал ее себе в карман. Ага, вот и кофе. Лучше черный, Элиот, сливками только испортишь.

Да, именно из-за этой бумажки я порвал с Пикманом – Ричардом Аптоном Пикманом, величайшим художником из всех, кого я знаю, и самым отвратительным ублюдком из всех, кто когда-либо перешагивал границы бытия, чтобы погрузиться в пучину бреда и безумия. Старина Рейд был прав, Элиот. Пикман был не вполне человеком. Он либо рожден под сенью тайны, либо нашел ключик к запретным вратам. Но это теперь не важно, он исчез – возвратился в мифическую мглу, где так любил блуждать. Да, распорядись-ка я, чтобы зажгли свет.

Только не спрашивай меня о сожженной бумаге; я не собираюсь делиться ни объяснениями, ни даже догадками. Не спрашивай и о том, что там была за возня в подполе, которую Пикман так старался приписать крысам. Знаешь, со старых салемских времен в мире уцелели некоторые тайны, а в рассказах Коттона Мазера встречаются и не такие чудеса. Тебе ведь известно, каким поразительным правдоподобием отличались картины Пикмана и как мы все гадали, откуда он взял эти лица.

Так вот, насчет листка: выяснилось, что никакая это не фотография фона. Все, что там было, – это чудовищная тварь, которую Пикман изображал на полотне. Это была его модель, а фоном служили стены подземной студии, видные во всех подробностях. Но, боже мой, Элиот, это была фотография с натуры.

1926

Жизнь Чарльза Декстера Варда

Перевод Л. Володарской

Соли Животных таким образом приготавлиемы и сохраняемы могут быть, что изобретательному Человеку не составит труда заполучить в свой Кабинет весь Ноев Ковчег и по своему желанию восстановить в первоначальном виде любое животное; и подобным же методом из определенных Солей человеческого Праха под силу Философу, не прибегая к преступной Некромантии, восстановить Облик любого Мертвеца из Праха, в коий его Тело успело обратиться.

Бореллий

I. Заключение и пролог

1

Из частной клиники для душевнобольных возле Провиденса (штат Род-Айленд) недавно исчез на редкость необычный пациент. Его имя – Чарльз Декстер Вард, а поместил его в клинику, причем весьма неохотно, удрученный горем отец, у которого на глазах происходило помрачение рассудка сына, проявлявшееся сначала в кое-каких странностях, а потом превратившееся в тяжелый маниакальный синдром, возможно, с манией убийства. Очевидны были также необычные изменения в мозге больного, и сами врачи признавали, что этот случай не меньше ставит их в тупик с точки зрения физиологической патологии, чем психической.

Во-первых, больной выглядел гораздо старше своих двадцати шести лет. Умственное расстройство, несомненно, старит быстрее, однако в лице молодого человека было нечто такое, что обыкновенно бывает только у много проживших людей.

Во-вторых, органические процессы представляли собой такую немыслимую нелепость, какой не знает медицинская практика. В дыхательной и сердечной деятельности больного наблюдалось отсутствие ритмичности, голос он потерял, так что мог только шептать, пищеварительный процесс был до крайности замедлен и сведен к минимуму, а нервные реакции на обычные раздражители не имели ничего общего с известными реакциями, будь они нормальные или патологические. Кожа стала сухой и холодной, как у мертвеца, а лабораторные исследования показали ее необычную рыхлость и жесткость. Большая овальная родинка исчезла с правого бедра, зато на груди появилось непонятное черное пятно, которого раньше там не было. Короче говоря, все медики согласились с тем, что обмен веществ у больного немыслимо замедлен и подобный прецедент наукой не зафиксирован.

С психикой у Чарльза Варда тоже происходило что-то непонятное. Его безумие не было похоже ни на что описанное даже в новейших и подробнейших ученых трудах, зато сопровождалось таким интеллектуальным напором, который мог бы сделать его гением или вождем, не прими он столь необычную и уродливую форму.

Доктор Виллетт, домашний врач Вардов, утверждал, что и прежде неординарные умственные способности больного, если судить по его реакциям, несоизмеримо возросли. Правда, Вард был ученым и знатоком древностей, но даже в самых блестящих ранних работах он не выказывал такой удивительной хватки и такого проникновения в суть предмета, как в беседах с психиатрами. Понятно, что законным путем отправить такого человека в сумасшедший дом было нелегко, столь сильным и ясным являл он врачам свой разум, и лишь свидетельства окружающих его людей и неправдоподобные провалы в знаниях при уникальной образованности позволили в конце концов поместить его в больницу.

До самого своего исчезновения Чарльз Вард продолжал очень много читать и разговаривать, сколько ему позволял его голос, и люди, считавшие себя проницательными, однако оказавшиеся неспособными предвидеть его бегство, говорили, что его недолго будут держать взаперти.

Лишь доктор Виллетт, принявший Чарльза Варда в этот мир и с тех пор наблюдавший за ростом его тела и ума, казался, пугался одной мысли о его будущей свободе. Ему пришлось стать свидетелем ужасных событий, и он сделал ужасное открытие, о котором не смел поведать своим скептически настроенным коллегам. Кстати, Виллетт, по всей видимости, хранит какую-то тайну, ведь он последним видел больного перед его бегством и после разговора с ним явно испытывал ужас и облегчение, о чем вспоминали видевшие его, когда три часа спустя стало известно об исчезновении Варда. Да и само его исчезновение из больницы доктора Уэйта так и

осталось неразрешенной загадкой. Открытое окно на высоте в шестьдесят футов тоже ничего не объяснило, и все же, поговорив с Виллеттом, молодой человек бесследно пропал.

Никаких публичных заявлений Виллетт не делал, хотя он явно стал спокойнее, чем раньше. Были люди, которым казалось, будто он готов к разговору, но боится, что ему не поверят. Он разговаривал с Вардом в его палате, однако вскоре после его ухода санитары напрасно стучали в дверь, а отперев ее, не обнаружили больного. В открытое окно дул прохладный апрельский ветер и поднимал облачко мелкого голубовато-серого порошка, который едва не задушил их. Правда, немного раньше ни с того ни с сего развылились собаки, но в то время Виллетт еще был с Вардом, а потом они быстро успокоились.

Об исчезновении Варда немедленно сообщили по телефону его отцу, однако он больше расстроился, чем удивился. Вызвали доктора Уэйта. Он побеседовал наедине с доктором Виллеттом, и после этого оба врача самым решительным образом отрицали свою причастность к бегству. Кое-что удалось узнать лишь от ближайших друзей Виллетта и от старшего Варда, однако их сведения были слишком фантастичны для широкой публики. Неопровержимым фактом остается лишь то, что до сих пор не обнаружено никаких следов пропавшего сумасшедшего.

Чарльз Вард с детства обожал всякие древности, очевидно испытал на себе влияние старого города, в котором он жил, и многих реликвий, до отказа наполнявших старый особняк его родителей на Проспект-стрит, что на вершине холма. С годами его любовь к старине усиливалась, так что история, генеалогия, колониальная архитектура, мебель и ремесла вытеснили все остальное из сферы его интересов. Это важно с точки зрения его будущего безумия, ибо если это и не стало причиной болезни, то все-таки сыграло в дальнейшем важную роль. Провалы в его знаниях, замеченные психиатрами, все без исключения имели отношение к современности и компенсировались довольно обширными, хотя и как будто скрываемыми познаниями в делах дней минувших, что показали исследования врачей. Пациент словно переносился в прошлое, пользуясь чем-то вроде самогипноза.

Непонятным было то, что в какой-то момент Вард утратил интерес к древностям, которые так хорошо знал, и перестал относиться к ним с почтением, словно они были надоевшими предметами домашнего обихода, а все свое внимание сконцентрировал на изучении общеизвестных фактов современной истории, которые совершенно изгладились из его памяти. Он, правда, тщательно скрывал свое незнание, однако всем, кто наблюдал за ним, по подбору книг и беседам с окружающими его людьми, было очевидно, что он лихорадочно поглощает информацию о своей собственной жизни, а также социальной и культурной жизни двадцатого столетия, которую должен был бы знать, как свою, ибо родился в 1902 году и учился в современной школе. Психиатры до сих пор не понимают, как при полном незнании современного мира убежавшему больному удалось приладиться к его сложностям, поэтому превалирует мнение, что он «лег на дно» и, не высовываясь в интеллектуальные сферы, набирает знания, чтобы ничем не отличаться от нормального человека.

Психиатры не пришли к согласию относительно того, когда началась болезнь Варда. Доктор Лиман, известный ученый из Бостона, считал, что это случилось в 1919 или 1920 году, когда Вард заканчивал школу Мозеса Брауна и неожиданно бросил старину, чтобы заняться оккультизмом, а потом отказался сдавать выпускные экзамены на том основании, что занят куда более важными делами. Его мнение подтверждали изменившиеся к этому времени привычки Варда и особенно его упорные сидения в городском архиве, а также поиски среди старых захоронений могилы 1741 года, принадлежавшей одному из его предков по имени Джозеф Карвен, кое-какие бумаги которого он, по его собственному признанию, нашел за панелью в очень старом доме на Олни-стрит, что на Стэмперс-Хилл, где Карвен когда-то жил.

По правде говоря, трудно отрицать, что зимой 1919/20 года Вард сильно изменился, по крайней мере, он в один момент прекратил занятия древностью и, забыв обо всем на свете,

набросился на оккультные науки, посвящая им все свое время дома и в поездках за границу, прерываясь разве что на непонятные поиски могилы своего предка.

Однако доктор Виллетт оспорил вердикт ученого коллеги, обосновав свое возражение близким и непрерывавшимся знакомством с больным, а также собственными исследованиями и открытиями, сделанными в последнее время. Эти исследования и открытия наложили на него свою печать, ибо голос его дрожит, когда он говорит о них, и рука не подчиняется ему, когда он хочет их описать. Виллетт признает, что изменения в поведении Варда в 1919–1920 годах обозначили начало процесса, который завершился в 1928 году в высшей степени печальным и противоестественным перерождением больного, тем не менее его наблюдения подсказывают ему другую интерпретацию происходившего тогда. Не скрывая, что Чарльз Вард был неуравновешенным мальчиком и склонен к бурным проявлениям чувств, он не пожелал признать, что тогдашнее изменение в поведении стало началом перехода от здоровья к болезни, доверяя собственному утверждению Варда, будто он создал или воссоздал нечто такое, что должно иметь неопределимое значение для человеческого разума.

Доктор Виллетт уверял, что настоящее безумие нагрянуло позже, после того, как были обнаружены портрет Карвена и старинные документы, после того, как Вард совершил несколько странных путешествий за границу, после того, как при загадочных обстоятельствах были произнесены ужасные заклинания, после того, как были получены *ответы* на эти заклинания и напуганный до глубины души юноша написал отчаянное письмо, после волны вампиризма и страшных слухов в Потюксете и после того, как из памяти больного начали выпадать сведения о современной жизни, он потерял голос, и его физическое состояние претерпело значительные перемены, известные коллегам.

Именно в это время, заявлял доктор Виллетт, которому не откажешь в наблюдательности, у больного появились чудовищные отклонения, и при этом доктор абсолютно уверен, что у него достаточно свидетельств, подтверждающих реальность рокового открытия Варда. Во-первых, два весьма образованных человека видели бумаги Джозефа Карвена. Во-вторых, мальчик и ему тоже показывал эти бумаги и страницу из дневника Карвена, которые не вызвали у него ни малейшего сомнения в их подлинности. Сохранился тайник, отысканный Вардом. И Виллетт на всю жизнь запомнил, как в последний раз смотрел бумаги в обстоятельствах, в которые все равно никто не поверит, тем более что у него нет доказательств их реальности. К этому надо добавить письма Орна и Хатчинсона с их неразгаданными тайнами и совпадениями, почерк Карвена, сведения о докторе Аллене, добытые сыщиками, – все это и еще ужасное послание, написанное средневековым письмом, которое Виллетт нашел у себя в кармане, придя в сознание после одного опасного опыта.

Но самое убедительное – два чудовищных *результата*, при помощи пары формул полученные доктором во время последних изысканий и неопровержимо доказавшие аутентичность бумаг и их чудовищного содержания, но всего на одно мгновение, после которого они были навсегда изъяты из человеческого познания.

2

Обращаясь к детству Чарльза Варда, не следует забывать, что он жил среди старинных вещей, которые были его страстью. Осенью 1918 года, явив довольно большой интерес к тогдашней военной подготовке, Чарльз Вард начал обучение в школе Мозеса Брауна, располагавшейся рядом с домом. Старое здание, возведенное в 1819 году, всегда нравилось юному любителю древностей, а большой парк, в котором располагалась сия академия, обращал его взгляд к природе. Развлечения, приятные детям, его не привлекали, и большую часть времени мальчик проводил дома, в бесцельных скитаниях по улицам, в школе и на военных занятиях, а еще он был постоянно занят историческими и генеалогическими изысканиями в городском

архиве, в мэрии, в публичной библиотеке, в «Атенеуме», в Историческом обществе, в библиотеках Джона Картера Брауна и Джона Хэя в университете Брауна и в недавно открытой библиотеке Шепли на Бенефит-стрит. В то время он был высоким, худым, со светлыми волосами и внимательным взглядом, немного сутулился, одевался несколько небрежно и производил впечатление не очень привлекательного, но безобидного юноши со странностями.

Его скитания всегда были путешествиями в прошлое, во время которых ему удавалось из множества реликвий чудесного старого города восстанавливать живую и связную картинку его давней жизни. Дом родителей Варда представлял собой огромный особняк в георгианском стиле, построенный на довольно высоком холме на восточном берегу реки, и из задних окон его довольно странных флигелей мальчик мог оглядывать все множество шпилей, куполов, крыш и вознесшихся в небо верхних этажей нижнего города вплоть до пурпурных холмов предместий. В этом доме он родился, и с его красивого, в классическом стиле портика со стороны кирпичного фасада с двойным рядом колонн няня в первый раз свезла его в коляске на улицу, чтобы прокатить мимо небольшой белой фермы, построенной двести лет назад и с тех пор оказавшейся внутри города, к старинным колледжам по солидной улице богатых домовладельцев, чьи старые кирпичные и деревянные – поменьше – особняки с узкими, в дорическом стиле портиками, украшенными тяжелыми колоннами, чинно дремали посреди просторных дворов и парков.

Его также катали по сонной Конгдон-стрит, которая проходила немного ниже на крутом склоне холма, отчего все дома на восточной стороне стояли на высоких столбах. Здешние деревянные домики были еще старше, ибо город, разрастаясь, карабкался вверх по склону холма, и, наверное, во время этих прогулок Вард прикипел душой к колоритному поселению в колониальном стиле. Обыкновенно няня останавливалась на Проспект-террас, где присаживалась на скамейку, чтобы поболтать с полицейским, и одним из первых воспоминаний мальчика было безбрежное море крыш, куполов, шпилей и далеких холмов, подернутых туманной дымкой. Однажды зимним днем он увидел город с высокой огороженной набережной лиловым и таинственным на фоне горячего апокалипсического заката, в котором красные языки пламени переплелись с золотыми, а пурпурные – с невесть откуда взявшимися зелеными. Он хорошо видел черную глыбу широкого мраморного купола мэрии со статуей на самом вершине, вдруг вспыхнувшей фантастическим светом, когда на мгновение разошлись тяжелые тучи, скрывавшие пылающее небо.

Когда он подросток, начались его знаменитые скитания сначала с задерганной няней, а потом в одиночестве, позволявшем ему беспрепятственно предаваться своим мыслям и мечтам. Он уходил все дальше вниз по почти вертикальному склону, каждый раз добираясь до более древней и таинственной части города. Помедлив от страха перед отвесной Дженкс-стрит, которая со своими каменными оградами и фронтонами в колониальном стиле пересекалась с Бенефит-стрит, мальчик обратил внимание на уникальный деревянный особняк с двумя входами, окруженными пилястрами в ионическом стиле, а рядом оказалось доисторическое строение под двускатной крышей и с кусочком скотного двора, чуть дальше – большой дом судьи Дарфи, остатки былого георгианского великолепия, но теперь трущобы в окружении гигантских тополей, прятавших их в своей тени. Мальчик шел дальше на юг мимо дореволюционных домов с высокими трубами посреди крыши и с классическими портиками. На восточной стороне они стояли на высоких фундаментах, а к дверям вели два марша каменных лестниц с перилами, и маленький Чарльз легко мог вообразить не только какими они были, когда улицу только застроили, но и людей в башмаках с красными каблуками и в пудренных париках, ступавших по отполированной веками каменной мостовой.

С западной стороны склон также круто шел вниз – к старой Городской улице, которую основатели города проложили вдоль берега в 1636 году. Здесь было без числа проулков с покосившимися ветхими домишками немислимой старины, но, несмотря на всю свою тягу к ним,

мальчик не скоро осмелился углубиться в них из опасения, как бы они не развеялись как сон или не обернулись воротами в мир неведомых кошмаров. Он предпочел сначала пойти по Бенефит-стрит мимо железной ограды, прятанной за собой двор церкви Святого Иоанна, мимо дома, в котором в 1761 году находилось Управление колониями, и полуразвалившегося постоялого двора «Золотой мяч», где когда-то останавливался Вашингтон. Помедлив на Митинг-стрит, бывшей Гаол-лейн, а потом Кинг-стрит, он посмотрел вверх и увидел с восточной стороны арку с лестницей, облегчавшей путь вверх и вниз, а потом посмотрел вниз и с западной стороны увидел старую кирпичную школу, которая почтительно взирала на старинное здание с доской на стене, на которой была изображена голова Шекспира. Здесь до Революции печатались «Провиденс газетт» и «Кантри джорнал». Рядом расположилась красавица – первая баптистская церковь, построенная в 1775 году, с несравненной колокольной Гиббса, с кровлей и куполами в георгианском стиле.

К югу дома были получше, а чуть подальше сохранилось даже несколько великолепных старинных особняков, однако и отсюда тропинки вели вниз на западную сторону, где стояли едва ли не призрачные дома с архаичными остроконечными крышами, доживавшие свой век возле старого всезнающего порта, который еще помнил славные вест-индские денечки среди многоязычного порока и нищеты, гниющих верфей и подслеповатых корабельных фонарей, улочек и переулков с сохранившимися названиями: Добыча, Слиток, Золото, Серебро, Монета, Дублон, Соверен, Гульден, Доллар, Грош и Цент.

Становясь сильнее и азартнее, юный Вард иногда осмеливался спуститься в эту мешанину ветхих домов, разбитых окон, покореженных лестниц, сломанных ограждений, загорелых лиц и безымянных запахов, пройти от Саут-мэйн до Саут-уотер в поисках причалов, где еще стояли спущенные на воду пароходы, а потом понизу возвратиться на север мимо складов с островерхими крышами, построенных в 1816 году, и большой площади возле Великого моста, где еще крепко стоит крытый рынок, построенный в 1773 году. На площади он обычно останавливался, чтобы впитать в себя немислимую красоту старого города, уходящего на восточной стороне в заоблачную высь, украшенного георгианскими шпилями и увенчанного огромным новым куполом дома Христианской науки, как Лондон увенчан куполом собора Святого Павла. Больше всего ему нравилось приходить сюда в конце дня, когда косые лучи солнца золотили крыши и рынка, и древних домов, и стройные колокольни и тайна преображала сонные причалы, где когда-то становились на якорь корабли, ходившие из Провиденса в Индию. Юный Вард долго не мог оторвать от всего этого взор, пока он не затуманился слезами поэтической любви к здешним местам, и тогда он отправлялся в сумерках домой – мимо старой белой церкви, по узким крутым улочкам, по обеим сторонам которых зажигались желтые огни в маленьких окошках над двумя маршами лестниц с необычными коваными перилами.

Повзрослев еще больше, он ощутил вкус к ярким контрастам и, например, половину прогулки посвящал колониальным кварталам к северо-западу от своего дома, где холм круто обрывается вниз к чему-то вроде уступа Стэмперс-Хилл с его гетто и негритянским кварталом, окружившим то место, откуда до Революции отправлялись в Бостон почтовые дилижансы, а другую половину – великолепной южной части города, где находятся улицы Джордж, Беневолент, Рауэр, Уильямс и где сохранились неизменными роскошные особняки, огороженные парки и крутая зеленая дорога, с которой связано множество сладостных воспоминаний. Эти скитания вместе с усердными архивными изысканиями, естественно, подарили Чарльзу Варду блестящее знание старины, в конце концов вытеснившее из его головы современный мир и подготовившее богатую почву, в которую роковой зимой 1919/20 года упали семена, давшие столь диковинные и чудовищные плоды.

Доктор Виллетт уверен, что до той злополучной зимы увлечение Чарльза Варда не таило в себе никакой угрозы. Кладбища не представляли для него особого интереса, кроме эстетического и исторического, и в его характере не было ничего похожего на влечение к насилию. Но

именно тогда, правда очень постепенно, начали проявляться необычные последствия одного из его генеалогических открытий, сделанного годом раньше, когда он отыскал среди своих давних предков по материнской линии некоего Джозефа Карвена, который приехал из Салема в марте 1692 года и о котором ходило множество самых фантастических слухов.

Уэлком Поттер, прапрадедушка Чарльза Варда, в 1785 году взял в жены некую Анну Тиллингаст, дочь миссис Элизы, дочери капитана Джеймса Тиллингаста, об отце которой в семье не сохранилось никаких сведений. В конце 1918 года, просматривая старинную книгу записей в городском архиве, юный историограф неожиданно обнаружил запись об изменении фамилии, согласно которой миссис Элиза Карвен, вдова Джозефа Карвена, в 1772 году возвратила себе и, следовательно, своей семилетней дочери Анне девичью фамилию – Тиллингаст на том основании, что «фамилия Супруга стала ее Позором по Причине, ставшей известной после его Смерти и подтвердившей прежние Слухи, которым не верила добропорядочная Жена, пока существовала хоть тень Сомнения». Эта запись обнаружилась совершенно случайно, когда Вард разлепил две страницы, намеренно и тщательно склеенные и пронумерованные как одна.

Мальчик сразу понял, что нашел до сих пор неведомого прапрадедушку, и это открытие вдвойне взволновало его, потому что он уже слышал кое-какие туманные намеки, касающиеся этого человека, о котором не осталось никаких официальных сведений, не считая тех, что стали доступны в последнее время, словно все сговорились стереть самую память о нем. Увы, это возымело обратный результат, ибо возбуждало у Варда желание узнать, что хотели скрыть и забыть «отцы города» и какие у них на то были причины.

До этого открытия романтический интерес Варда к Джозефу Карвену не переходил границы обыкновенного любопытства, однако, обнаружив родственную связь с очевидно «замалчиваемым» персонажем, Вард принялся систематически искать все, что только можно было найти о нем. И в своем вдохновенном поиске он преуспел сверх всяких ожиданий, ибо старые письма, дневники и неопубликованные воспоминания, найденные на затянутых паутиной чердаках Провиденса и из легкомыслия не уничтоженные их владельцами, содержали множество ценных сведений. Важное сообщение пришло из далекого Нью-Йорка, где в одном из музеев хранились письма колониальных времен, в частности из штата Род-Айленд. Однако решающее значение, с точки зрения доктора Виллетта, который считал ее причиной всего случившегося с Вардом, имела находка августа 1919 года – бумаги, отысканные за панелью ветхого дома на Олни-корт. Вне всякого сомнения, это они открыли черные перспективы, которые были глубже могильного покоя.

II. Прошлое и кошмар в Провиденсе

1

Джозеф Карвен, как сообщали предания, услышанные и прочитанные Вардом, был человеком удивительным, загадочным и внушавшим непонятный страх окружающим его людям. Он бежал из Салема в Провиденс – приют всех чудаков, свободолюбцев и бунтарей – в самом начале великой охоты на ведьм, так как боялся, что его обвинят в колдовстве из-за его нелюдимости и странных химических и алхимических опытов. Это был невзрачный человек лет тридцати, который вскоре стал полноправным гражданином Провиденса и купил участок под дом в начале Олни-стрит и севернее дома Грегори Декстера. Дом был построен на Стэмперс-Хилл, западнее Городской улицы, на том месте, которое потом стало называться Олни-корт, и в 1761 году заменен там же на более просторный, сохранившийся до наших дней.

Первая странность Джозефа Карвена заключалась в том, что он почти не менялся со временем. Он вошел в корабельный бизнес, приобрел верфь возле Майл-Энд-коув, пожертвовал деньги на перестройку Великого моста в 1713 году, а в 1723 году стал одним из строителей конгрегационной церкви на холме, и все это время хоть и не блистал красотой, но выглядел лет на тридцать – тридцать пять. Миновали десятилетия, и это стало очевидно всем, однако Карвен неизменно ссылался на крепких предков и здоровый образ жизни. Жители же Провиденса недоумевали, как этот здоровый образ жизни сочетался с непонятными отлучками таинственного торговца и странным светом в его окнах до самого утра, и им приходили на ум другие причины его нескончаемой молодости и редкого долголетия. В конце концов все сошлось на том, что все дело в химических опытах Карвена.

Ходили слухи о странных веществах, которые он привозил на своем корабле из Лондона и из Индии или заказывал в Ньюпорте, Бостоне и Нью-Йорке, а когда из Реховота приехал старый доктор Джейбз Боуэн и открыл аптеку «Единорог и ступка» напротив Великого моста, начались бесконечные пересуды, сколько лекарств, кислот и металлов закупил или заказал неразговорчивый отшельник. Придя к заключению, что Карвен владеет тайным лекарским искусством, многие несчастные ринулись к нему за помощью, но, хотя он и не разуверял никого и по первой же просьбе давал странного цвета порошки, пользы они приносили мало. Прошло лет пятьдесят, как Карвен поселился в Провиденсе, но изменения на его лице и во всем его облике тянули не больше чем лет на пять, и тогда люди заговорили громче, а уж его изначальную тягу к одиночеству теперь скорее приветствовали, чем порицали.

Частные письма и дневники того времени рассказывают о множестве других причин, почему Джозеф Карвен вызывал поначалу удивление, потом страх, потом ужас – не меньше чумы. Его страсть к кладбищам, которые он посещал в любое время и в любую погоду, была хорошо известна, хотя никто не мог бы сказать, что он там делал. Он владел фермой на Потюксет-роуд, на которой он обыкновенно жил летом и на которую довольно часто наезжал в самое разное время дня и ночи.

Из слуг, сторожей и работников там видели только угрюмых с виду мужа и жену из племени наррангассеттов. Немой муж был весь в каких-то странных шрамах, а жена отличалась на редкость оттапливающей внешностью, возможно, из-за примеси негритянской крови. В пристройке Карвен оборудовал для себя лабораторию, где и занимался в основном своими химическими опытами. Любопытные носильщики и рассыльные, вносившие бутылки, мешки, ящики в маленькую заднюю дверь, обменивались впечатлениями о фантастических флягах, тиглях, перегонных кубах и печах в низкой комнате со стеллажами на всех стенах и шепотом предре-

кали державшему рот на замке «химику» – на их языке это означало «алхимик» – открытие философского камня.

Ближайшие соседи по фамилии Феннер, ферма которых располагалась примерно в миле от фермы Карвена, могли бы рассказать много любопытного о странных звуках, доносившихся до них по ночам. Они будто слышали крики и приглушенный вой и, конечно же, были не в восторге от огромного количества животных, заполонивших пастбища. Их было слишком много для одинокого пожилого джентльмена и пары слуг, даже если они намеревались полностью обеспечивать себя мясом, молоком и шерстью. Кстати, животных привозили чуть не каждую неделю с ферм Кингстауна. Да и большое каменное здание с высокими узкими бойницами вместо окон производило малоприятное впечатление.

Любители погулять на Великом мосту также могли порассказать много интересного о городском доме Карвена на Олни-корт, правда, не о новом доме, построенном в 1761 году, когда владельцу было уже под сто лет, а о старом – низком, с двускатной крышей, с чердаком без окон и обшитыми тесом стенами, которые он сам позаботился сжечь после того, как дом разобрали. Таинственного в этом, правда, мало, однако из-за огня по ночам, неразговорчивости двух чернокожих чужаков, единственных слуг-мужчин в доме, загадочного бормотания древней француженки-домоправительницы, немислимого количества провизии, доставляемой всего для четырех человек, и странных голосов, которые вели приглушенные разговоры в самое неподходящее время, – из-за всего этого, да еще из-за фермы на Потюксет-роуд, о доме Карвена ходила худая слава.

В избранных кругах дом Карвена тоже обсуждали вовсю. По мере того как его хозяин постепенно, но все больше включался в религиозную и деловую жизнь города, он, естественно, заводил знакомства среди приличных людей, от общения с которыми, если судить по его положению и рождению, мог бы получить удовольствие, ведь он происходил из богатой семьи Карвенов, или Карвенон из Салема, которые не нуждались в представлении в Новой Англии. Сам Джозеф Карвен много путешествовал в юности, какое-то время жил в Англии и дважды совершал путешествия на Восток, поэтому по его речам, когда он находил нужным что-то сказать, можно было составить представление о нем как об образованном и отлично воспитанном англичанине.

Тем не менее Карвен не нуждался ни в чьем обществе. Никогда не позволяя себе никаких грубостей, он умел воздвигнуть такую стену между собой и гостем, что немногие решались на беседу с ним, боясь показаться глупее, чем им хотелось бы.

Было в его обхождении непонятное насмешливое высокомерие, словно он всех людей почитал за ничтожества, имея возможность общаться с неведомыми и более умными существами. Когда в 1783 году из Бостона прибыл знаменитый остроумец доктор Чекли, назначенный ректором в Королевскую церковь, он не преминул нанести визит человеку, о котором было много наслышан, однако быстро покинул его дом, испугавшись чего-то в поведении хозяина.

Однажды зимним вечером, когда Чарльз Вард беседовал с отцом о Карвене, он сказал, что все отдал бы, лишь бы узнать, чем таинственный старик так напугал жизнерадостного священника, что он ни при каких обстоятельствах не желал об этом говорить, судя по записям в дневниках того времени. Благочестивый доктор Чекли испытал, по-видимому, отчаянный страх, ибо с тех пор от одного упоминания о Джозефе Карвене мгновенно терял свою прославленную светскость.

Известно, однако, почему другой столь же образованный и воспитанный человек избегал общества высокомерного отшельника. В 1746 году мистер Джон Мерритт, пожилой английский джентльмен со склонностью к литературе и наукам, приехал из Ньюпорта в быстро растущий Провиденс и построил великолепный загородный дом на Перешейке, который теперь считается самым роскошным городским районом. Жил он богато, ни в чем себе не отказывал, первым завел коляску с лакеями в ливреях и очень гордился своими телескопом, микроско-

пом и отлично подобранной библиотекой английских и римских авторов. Услыхав от кого-то о Карвене как о владельце лучшей в Провиденсе библиотеки, мистер Мерритт немедленно нанес ему визит и был принят куда сердечнее, чем кто бы то ни было еще. Он был восхищен вместительными полками, на которых, помимо греческой, римской и английской классики, была собрана великолепная библиотека философских, математических и прочих научных трудов, в частности Парацельса, Агриколы, Ван Хельмонта, Сильвиуса, Глаубера, Бойля, Бургаве, Бехера и Штала. Наверное, поэтому Карвен пригласил его на свою ферму и в лабораторию, куда никого еще не приглашал, и они вместе отправились за город в коляске мистера Мерритта.

Впоследствии мистер Мерритт утверждал, что не видел ничего страшного на ферме, однако признавался, что одни названия книг по магии, алхимии и теологии могли на кого угодно нагнать страху. Возможно, правда, этому способствовало выражение лица хозяина, показывавшего гостю свое странное собрание, которое, помимо обычных книг, не вызывавших зависти у мистера Мерритта, включало в себя почти всю известную каббалистику, демонологию и магию и было настоящей сокровищницей знаний в сомнительных областях алхимии и астрологии. Гермес Трисмегист в издании Менара, «Turba Philosopharum», «Liber Investigationis» аль-Джабера, «Ключ мудрости» Артефия – все они были тут, а еще каббалистический «Зохар», «Albertus Magnus» среди прочих книг Питера Джемма, «Ars Magna et Ultima» Раймонда Луллия в издании Затцнера, «Thesaurus Chemicus» Роджера Бэкона, «Clavis Alchimiae» Фладда и «De Lapide Philosophico» Тритемия стояли рядом на полке. В изобилии были представлены средневековые евреи и арабы. Мистер Мерритт побледнел, когда, взяв в руки великолепный том, озаглавленный «Qanoon-e-Islam», обнаружил запрещенный «Necronomicon» сумасшедшего араба Абдулы Алхазреда, о котором несколько лет назад ему шепотом рассказали чудовищные вещи после того, как стало известно о безымянных обрядах в маленьком рыбацком городке Кингспорт, что на берегу Массачусетского залива.

Как ни странно, беспокойство достойному джентльмену внушила малозначительная деталь. На большом столе из красного дерева лежало очень потрепанное издание Бореллия с множеством таинственных знаков и надписей, сделанных на полях и между строк рукой Карвена. Книга была открыта почти на середине, и в одном параграфе все строчки были подчеркнуты такими жирными и неровными линиями, что Мерритт не смог удержаться и прочитал его. Он так и не понял, что внушило ему ужас – то ли содержание подчеркнутых строк, то ли жирные, проведенные в возбуждении линии, то ли то и другое вместе. До конца жизни он помнил этот параграф и записал его по памяти в свой дневник, а однажды даже попытался пересказать своему близкому другу доктору Чекли, но вовремя остановился, заметив, как тот переменился в лице. Вот этот кусок:

«Соли Животных таким образом приготавливаемы и сохраняемы могут быть, что изобретательному Человеку не составит труда заполучить в свой Кабинет весь Ноев Ковчег и по своему желанию восстановить в первоначальном виде любое животное; и подобным же методом из определенных Солей человеческого Праха под силу Философу, не прибегая к преступной Некромантии, восстановить Облик любого Мертвеца из Праха, в койй его Тело успело обратиться».

Однако хуже всего о Джозефе Карвене говорили в доках в южной части Городской улицы. Моряки – народ суеверный, и, просоленные всеми морями, перевозившие ром, рабов и патоку на каперах и больших кораблях Браунов, Кроуфордов и Тиллингастов, они все как один делали разные оберегающие знаки, стоило им только завидеть стройного, моложавого, рыжеволосого и слегка сутулящегося Джозефа Карвена, идущего на свой склад на Дублон-стрит или разговаривающего с капитанами и суперкарго на длинном причале, возле которого беспокойно покачивались на воде его корабли.

И клерки, и капитаны ненавидели и боялись его, а свои команды он набирал из отпетых бандитов на Мартинике, на Святом Евстафии, в Гаване и Порт-Ройале, причем часто менял их, поддерживая и этим тоже неизбывный ужас в тех, кто приходил им на смену. Получив разрешение сойти на берег, моряки рассеивались по городу, да еще, как правило, несколько человек посылали куда-нибудь с тем или иным поручением, но возвращались обратно не все. Если поручения касались фермы на Потюксет-роуд, то обратно не возвращался почти никто, и об этом люди не забывали, так что со временем Карвену стало трудно удерживать у себя не совсем обычным образом подобранные команды. Несколько человек обязательно сбегали сразу же, как только до них доходили слухи о верфях в Провиденсе. Вербовать же людей в Вест-Индии в конце концов превратилось для Карвена в почти неразрешимую проблему.

К 1760 году Джозеф Карвен стал настоящим изгоем, подозреваемым в самых ужасных связях с дьяволом, которые казались тем страшнее, что их нельзя было назвать, понять или хотя бы доказать. Последней каплей была пропажа солдат в 1758 году. В марте и апреле того года два королевских полка, направлявшихся в Новую Францию, квартировали в Провиденсе и к концу этого срока поредели гораздо сильнее, чем это бывает при обычном дезертирстве. Поползли слухи о том, что Карвена часто видели разговаривающим с одетыми в красные мундиры чужаками, а когда они исчезли, то люди вспомнили и об исчезавших странным образом моряках. Трудно сказать, что было бы, не получи полки приказ двигаться дальше.

Тем временем дело Карвена процветало. Он владел монополией на городскую торговлю селитрой, черным перцем, корицей и с легкостью опередил все остальные торговые дома, кроме фирмы Браунов, в импорте медной посуды, индиго, хлопка, шерсти, соли, одежды, железа, бумаги и всевозможных английских товаров. Торговля Джеймса Грина из Чипсайда, на вывесках которого красовался слон, и Расселлов с их золотым орлом, и Кларка с Найтингейлом с их сковородкой и рыбой почти полностью зависела от поставок Карвена, а его контракты с местными виноделами, наррангассеттцами-коневодами и маслоделами и ньюпортскими свечных дел мастерами сделали его одним из первых экспортеров колонии.

Хоть Карвен и был отверженным, но все же он жил среди людей, поэтому, когда сгорело здание, в котором размещалось Управление колониями, и решили устроить лотерею, Карвен подписался на довольно значительную сумму. И новое кирпичное здание, все еще украшающее главную улицу, было возведено в 1761 году. В том же году он дал деньги на восстановление Великого моста, разрушенного октябрьскими штормами. Для публичной библиотеки он закупил много новых книг, чтобы заменить погибшие во время пожара в Управлении колониями, а также устроил лотерею, благодаря которой были вымощены булыжником Маркет-парад и славившаяся своими ямами Городская улица, где к тому же сделали посередине пешеходную дорожку.

Примерно в это время Карвен построил еще один довольно обычный снаружи, но отличавшийся роскошью и всеми возможными новинками дом, двери которого представляли собой чудо деревянной резьбы. Когда в 1743 году последователи Уайтфилда отделились от церкви доктора Коттона на холме и основали против Великого моста собственную церковь, в которой дьяконом стал доктор Сноу, Карвен присоединился к ним, хотя вскоре его энтузиазм несколько поутих. Однако с этих пор он вновь стал заботиться о своей репутации, желая как будто рассеять тень, из-за которой он оказался в изоляции и которая могла положить конец его благоденствию.

2

Зрелище, которое представлял собой этот необычный бледный мужчина средних лет, хотя на самом деле ему уже стукнуло все сто, наконец-то решивший отделаться от окутавшего его облака страха и ненависти, слишком зыбкого, чтобы его можно было пощупать и взять

на анализ, одновременно было трогательным, драматичным и вызывавшим презрение. Однако такова власть денег и публичных жестов, что понемногу отношение к Карвену стало меняться, особенно после того, как перестали исчезать его матросы. К тому же и свои кладбищенские прогулки он теперь окружал строжайшей тайной. Потихоньку смолкли разговоры о криках на ферме. Продуктов и скота он продолжал закупать непомерно много, однако до самого последнего времени, когда Чарльз Вард изучил счета своего предка в библиотеке Шепли, никому и в голову не приходило – кроме одного любознательного юноши – сравнить огромное количество чернокожих, доставляемых им из Гвинеи вплоть до 1766 года, с непостижимо малым количеством чеков, удостоверявших их продажу работоторговцам, обосновавшимся возле Великого моста, и плантаторам из Наррангассетта. Конечно же, этот ужасный человек мог гордиться своей хитростью и изобретательностью, когда обстоятельства принудили его к осторожности.

Тем не менее результат этих запоздалых усилий был ничтожно мал. Карвена все так же обходили стороной, ему не доверяли, хотя бы потому, что в старости он умудрялся выглядеть почти юношей, и он понял, что в конце концов потеряет все. Его исследования и сложные опыты, чем бы он ни занимался, требовали много денег, и если бы его вдруг лишили тех преимуществ, которые он имел в торговом деле в Провиденсе, то, даже начни он все заново в другом месте, это не возместило бы ему потерь.

Здравый смысл требовал немедленно менять отношения с гражданами Провиденса, чтобы люди не умолкали в его присутствии, чтобы не бежали от него под любыми предлогами, чтобы не смотрели на него со страхом и недоверием. Беспокоили его и служащие, так как у него остались только самые беспомощные и безденежные, которых никто больше не брал на работу, а своих капитанов и помощников капитанов ему удавалось держать при себе лишь необычайным умением обретать власть над людьми с помощью закладных, векселей или информации, способствующей их успеху. В большинстве дневников люди писали со страхом, что Карвен каким-то колдовским способом умел выведывать семейные секреты. В последние пять лет жизни он пугал сограждан такими тайнами, которые мог узнать только из непосредственного общения с давно умершими людьми.

В это время всезнающий ловкач решил предпринять последнюю отчаянную попытку завоевать себе место в обществе Провиденса. Вечный отшельник, он надумал заключить выгодный брак с девушкой из семьи с безупречной репутацией, чтобы изоляция его дома стала совершенно невозможной. Наверное, у него были и другие, более веские причины добиваться брака, но они выходили далеко за пределы известного космического пространства, так что только документы, найденные через полтора столетия после его смерти, дали ключ к разгадке, но и тогда ничего определенного установить не удалось.

Естественно, он понимал, какой ужас вызовет его ухаживание, поэтому стал искать девицу, на родителей которой мог бы оказать давление. Это оказалось делом непростым, так как у него были довольно высокие требования к красоте, воспитанию и общественному положению невесты. В конце концов поиск привел к одному из его лучших старших капитанов, вдовцу Дьюти Тиллингасту с высоким положением в обществе благодаря рождению и безупречной репутации, чья единственная дочь Элиза обладала всеми возможными достоинствами, кроме видов на наследство. Карвен полностью подчинил себе капитана Тиллингаста, и после ужасного разговора в доме с высоким куполом на Пауэрс-лейн он дал согласие на святотатственный союз.

Элизе Тиллингаст в то время было восемнадцать лет, и она получила лучшее воспитание, какое только позволили средства капитана, посещала школу Стивена Джексона, что напротив мэрии, и прилежно училась рукоделию и искусству вести хозяйство у матушки, пока та не умерла в 1757 году от оспы. Одну из вышивок девятилетней Элизы, то есть 1753 года, можно и теперь увидеть в Историческом музее штата Род-Айленд. После смерти матери Элиза сама с помощью одной лишь негритянки вела хозяйство.

Наверное, ее споры с отцом насчет предложения Карвена были весьма бурными, однако мы не располагаем о них никакими сведениями. Достоверно известно лишь о разрыве помолвки Элизы Тиллингаст и юного Эзры Уидена, второго помощника капитана на корабле «Энтерпрайз», принадлежавшем Кроуфорду, и о венчании Элизы Тиллингаст с Джозефом Карвеном седьмого марта 1763 года в баптистской церкви, состоявшемся в присутствии самого избранного общества города Провиденс и совершенном Сэмюэлем Уинсоном-младшим. «Газетт» откликнулась на это событие короткой заметкой, но она вырезана или вырвана из большинства сохранившихся экземпляров. После долгих поисков в одном из частных архивов Вард все-таки нашел нетронутый экземпляр и позабылся бессмысленной светскостью выражений:

«В понедельник вечером мистер Джозеф Карвен, живущий в Провиденсе, купец, обвенчался с мисс Элизой Тиллингаст, дочерью капитана Дьюти Тиллингаста. Юная леди, не обойденная ни одним из Достоинств, которые лишь подчеркивают Прелесть ее облика, украсит сей брачный Союз и непременно сделает его Счастливым».

Переписка Дарфи-Арнольда, незадолго до первых приступов безумия обнаруженная Чарльзом Вардом в частном собрании Мелвилла Ф. Питерса, живущего на Джордж-стрит, относится к этому и более раннему периоду и проливает свет на то возмущение, с каким общество Провиденса восприняло соединение в браке столь разных людей. Однако влияние Тиллингастов на общественное мнение свое дело сделало, и Джозефа Карвена посещали в его доме люди, которых иначе он никак не мог бы заманить. Тем не менее нельзя сказать, чтобы его приняли с открытой душой, и больше всех от этого страдала его поневоле храбрая жена. Тем не менее глухая стена, изолировавшая Карвена, была все-таки разрушена.

И его жена, и все общество были удивлены неожиданной галантностью и обходительностью не совсем обычного мужа. В новом доме на Олни-корт не было ничего пугающего, и хотя Карвен довольно много времени проводил на ферме на Потюксет-роуд, куда его жена не ездила ни разу, теперь он, несомненно, больше походил на обыкновенного человека, чем когда бы то ни было.

Только один человек продолжал открыто враждовать с ним – юный помощник капитана Эзра Уиден, чья помолвка с Элизой Тиллингаст была неожиданно разорвана. Эзра Уиден публично поклялся отомстить обидчику и, хотя до этого был человеком спокойным и мягким, теперь посвятил себя одной-единственной цели, которая не сулила ничего доброго сопернику, отнявшему у него невесту.

Седьмого мая 1765 года родилась Анна, единственная дочь Карвена, и она была крещена преподобным Джоном Грейвсом в Королевской церкви, прихожанами которой вскоре после свадьбы стали Карвены, найдя для себя такой компромисс, ибо он принадлежал к конгрегационистам, а она – к баптистам. Запись о рождении девочки, так же как запись о венчании двумя годами раньше, была вычеркнута почти из всех копий церковной книги и из книги мэрии тоже, и Чарльз Вард, приложив немало сил, отыскал ее после того, как нашел извещение о перемене фамилии вдовы, которое побудило его к дальнейшим поискам своего родственника и внушило губительное волнение, закончившееся сумасшествием. Запись о рождении была найдена совершенно случайно, благодаря переписке с наследниками верного королю доктора Грейвса, который, покидая свою паству во время Революции, сделал копию церковных книг. Вард написал им, зная, что его прапрабабушка Анна Тиллингаст Поттер принадлежала к епископальной церкви.

Вскоре после рождения дочери, которому Джозеф Карвен радовался с откровенностью, необычной для его естественной замкнутости, он решил позировать для портрета, заказанного очень талантливому шотландцу Космо Алекзэндеру, поселившемуся потом в Ньюпорте и про-

славившемуся в качестве первого учителя Джилберта Стюарта. Портрет сначала висел в библиотеке дома на Олни-корт, но отыскать его дальнейшие следы оказалось невозможно. В это время Джозеф Карвен как будто не замечал никого вокруг и все время проводил на ферме. Есть записи о том, что он был очень возбужден, словно ждал чего-то невероятного или находился на пороге некоего открытия. По всей видимости, его опыты были связаны с химией или алхимией, потому что он забрал на ферму почти все книги по этому предмету.

Тем не менее его интерес к городской жизни не иссяк и он не упускал возможности помочь энтузиастам Стивену Хопкинсу, Джозефу Брауну и Бенджамину Уэсту в их стремлении повысить культурный уровень города, который в то время был ниже, чем в Ньюпорте, покровительствовавшем современному искусству. Он содействовал Дэниэлю Дженксу, открывшему в 1763 году книжный магазин, и стал его завсегдатаем, а также «Газетт», выходявшей каждую среду в здании, на стене которого красовалась голова Шекспира. В политике он горячо поддерживал губернатора Хопкинса против партии Варда, которая в основном работала в Ньюпорте, и его по-настоящему яркая речь в Хачерс-холле в 1765 году против отделения Северного Провиденса, который желал отдать свои голоса за избрание Варда в Генеральную ассамблею, принесла ему наконец победу над самыми предубежденными согражданами.

Один только Эзра Уиден, не спускавший с него глаз, довольно скептически относился ко всей этой шумихе и публично заявлял, что Карвен всего-навсего маскирует свои связи с черными безднами Тартара. Мстительный юноша постоянно следил за Карвеном, едва возвращался из плавания, и проводил целые ночи на причале, когда на складах Карвена горел свет, держа наготове легкую лодку и неслышно сопровождая небольшой бот, который иногда отплывал от берега, а потом возвращался обратно. Но, кроме того, он старался держаться как можно ближе к ферме и один раз был серьезно искусан собаками, спущенными на него индейцами.

3

В 1766 году Джозеф Карвен переменялся в последний раз. Это случилось неожиданно и было замечено любопытными жителями Провиденса. Как старое пальто, он сбросил с себя нетерпеливое ожидание и с трудом подавлял рвавшийся наружу восторг. Казалось, он из последних сил удерживается, чтобы не кричать на всех углах о своем открытии, однако победила осторожность, и он никому ничего не сказал. После этого, то есть с начала июля, зловещий изыскатель принялся удивлять сограждан информацией, похороненной вместе с далекими предками.

Однако лихорадочная тайная деятельность Карвена продолжалась. Более того, он даже еще больше активизировался, и корабли один за другим отправлялись в путь под командой капитанов, которых он привязывал к себе страхом не менее крепко, чем угрозой банкротства. Карвен отказался от работорговли, заявив, что доходы от нее постоянно уменьшаются.

Каждую свободную минуту он проводил на ферме, и так как вновь пошли слухи, что его видели если не на кладбищах, то неподалеку от них, то многие задумались, действительно ли старый купец изменил своим привычкам. Эзра Уиден, хотя и не мог непрерывно шпионить за Карвеном из-за своих отлучек, упорствовал в своей ненависти, о которой забыли занятые своими делами горожане и фермеры, и изучал дела Карвена с небывалой тщательностью.

Странные маневры кораблей, принадлежавших таинственному купцу, никого не удивляли в то беспокойное время, когда любой колонист считал своим долгом действовать вопреки Сахарному акту, который мешал оживленной торговле. В Наррангассеттской бухте приветствовалась любая контрабанда, поэтому ночная разгрузка была делом обычным. Однако Уиден, который ночь за ночью следил за лихтерами и шлюпами, тайно покидавшими склады Карвена на причалах Городской улицы, вскоре убедился, что его страшный противник старается избежать встречи не только с вооруженными кораблями его величества. До 1766 года, когда Карвен

столь сильно переменился, в них большей частью перевозили закованных в цепи негров, которых высаживали на безлюдном берегу к северу от Потюксета, а потом доставляли на ферму Карвена и запирали в большом каменном доме с высокими узкими бойницами вместо окон. Потом, однако, все переменилось. В одночасье перестали прибывать рабы, и Карвен прекратил ночные прогулки по бухте.

Но примерно весной 1767 года началось кое-что новое. Опять лихтеры отчаливали от черных тихих причалов, только на сей раз они направлялись дальше в бухту, возможно, до Нанкит-Пойнта, где встречали и принимали груз у неизвестных и разнотипных, но довольно больших кораблей, после чего матросы Карвена перевозили этот груз на прежнее место на берегу, а уже потом транспортировали его на ферму и запирали в том же самом загадочном каменном доме, в котором прежде томились негры. Груз представлял собой в основном коробки и ящики, которые, как правило, были прямоугольными, тяжелыми и напоминали гробы.

Уиден упорно следил за фермой, приходя к ней каждую ночь и лишь изредка позволяя себе недельный перерыв, если землю покрывал предательский снежок. Но даже тогда он старался по возможности приблизиться к ней по наезженной дороге или по льду, сковавшему речку неподалеку, чтобы взглянуть на следы. Когда же служба вынуждала его покинуть Провиденс, он нанимал своего приятеля из таверны по имени Элеазар Смит, и они могли бы пустить в оборот не один фантастический слух. Если они этого не делали, то только потому, что разговоры могли бы насторожить Карвена и помешать им. Они решили во что бы то ни стало узнать сначала что-то определенное, а уж потом действовать.

И они в самом деле узнали нечто потрясающее, так как Чарльз Вард много раз сетовал в разговорах со своими родителями на то, что Уиден сжег записные книжки. Об их открытиях известно лишь из отрывочных дневниковых записей Элеазара Смита и из других дневников и писем, повторивших сделанные ими в конце концов заявления о том, что ферма была лишь видимым прикрытием большой и опасной бездны, размеры которой недоступны для осознания человеческим разумом.

Известно, что Уиден и Смит давно знали о бесчисленных туннелях и катакомбах под фермой, в которых обитало довольно много народу, кроме индейской четы. Фермерский дом уцелел и представляет собой постройку середины семнадцатого столетия с высокой крышей, огромной трубой и круглыми окошками. Лаборатория размещалась в северной пристройке, крыша которой доходит почти до земли. Несмотря на то что дом стоял далеко от других строений, под ним должны были быть тайные ходы, так как из него довольно часто доносились разные голоса, которые до 1766 года представляли собой невнятное бормотание, перешептывания негров, леденящие кровь крики, а также странные песнопения и заклинания. После 1766 года это была уже непрерывная какофония человеческих голосов, в которой слышались то глухое покорное причитание, то крик ярости, то беспокойная беседа, то плач, то душный шепот, то протестующий вопль. Люди говорили на множестве языков, известных Карвену, который отвечал, упрекал, угрожал.

Иногда казалось, что в доме находится много народа – Карвен, пленники и стражники, которые их стерегли. В этих случаях Уиден и Смит не понимали, на каком языке говорят собравшиеся, хотя они побывали во многих разноязыких портах, однако их беседы были похожи на что-то вроде катехизиса, словно Карвен всеми силами добывал информацию у испуганных или непокорных узников.

Уиден записывал, что запоминал из услышанных вопросов и ответов, потому что довольно часто допросы велись если не на английском, то на французском или испанском языках, которые он знал, однако его записи не сохранились. Тем не менее он говорил, что, если не считать нескольких отвратительных бесед о преступлениях, совершенных предками уважаемых семейств Провиденса, речь шла, насколько он понимал, об истории и науках, иногда о далеких землях и временах. Один раз, например, кто-то, отвечая на вопросы, то кричал в

бешенстве, то едва ли не шептал по-французски об убийстве Черного Принца в Лиможе в 1370 году, словно у него выпытывали тайну, которую он должен был знать. Карвен спрашивал узника – узника ли? – о том, что послужило причиной приказа: Знак Козла, обнаруженный на алтаре в старой римской гробнице рядом с собором, или Три Слова, произнесенные неизвестным членом Высшего Совета Вены? Не добившись ответа, мучитель прибегнул к крайним мерам, потому что после минутного молчания раздался ужасный крик, потом стон, а потом Уиден услышал, будто упало что-то тяжелое.

Ни Уидену, ни Смиуту не удалось подсмотреть ни один из допросов, потому что окна всегда были наглухо закрыты. Правда, однажды, когда разговор шел на неизвестном языке, на занавеску упала тень, испугавшая Уидена до самой глубины души, ибо она напомнила ему одну из кукол, которые он видел на хитром механизированном представлении в Хачер-холле в 1764 году, даваемом неким жителем Джермантауна (Пенсильвания) и объявленном как «Взгляд на знаменитый город Иерусалим, в котором представлены Иерусалим, храм Соломона, его царский трон, прославленные башни и горы наряду со страданиями Спасителя Нашего, которые Он претерпел от Гефсиманского сада до креста на Голгофе, – искусный образец механического искусства, достойный внимания любопытствующих». Именно в тот раз Уиден подошел слишком близко к окну, чем всполошил индейцев, спустивших на него собак. Больше Уиден и Смит не могли ничего подслушать и решили, что Карвен перенес свою деятельность в подвал.

То, что подвал действительно был, совершенно очевидно по многим причинам. Крики и стоны время от времени доносились из-под земли, на которой ничего не стояло, а, кроме того, в долине Потюксет на крутом берегу реки в кустах приятели отыскивали дубовую дверь в крепкой каменной раме, которая, несомненно, вела внутрь холма.

Когда и кто устроил здесь катакомбы, Уиден не знал, но он часто указывал на легкость, с какой можно было тайно доставить по реке строителей. Джозеф Карвен и в самом деле умел находить применение своим собранным со всего света матросам! Во время обильных дождей в 1769 году два приятеля глаз не сводили с крутого склона, надеясь узнать хоть что-то о тайном подземелье, и их терпение было вознаграждено видом множества человеческих костей и костей животных в тех местах, где дождевые потоки подмыли берег. Естественно, можно найти множество объяснений этой куче костей на окраине фермы да еще на месте индейских захоронений, однако Уиден и Смит держались на этот счет собственного мнения.

В январе 1770 года, когда Уиден и Смит, все еще не придя ни к какому решению, обсуждали, что им думать и делать с их непонятным преступлением, случились неприятности на корабле «Форталеза». Разозленный поджогом таможенного шлюпа «Либерти» в Ньюпорте летом 1769 года, адмирал Уоллес, командовавший всеми таможенными судами, приказал особенно тщательно проверять иностранные корабли, и Гарри Леш, капитан его королевского величества военной шхуны «Лебедь», после недолгого преследования захватил как-то утром небольшой, приписанный к Барселоне (Испания) корабль «Форталеза» под командованием капитана Мануэля Арруды, следовавший с грузом из Каира (Египет) в Провиденс. Корабль был обыскан, но вместо обычной контрабанды обнаружился фантастический груз египетских мумий, получателем которого числился «матрос А.Б.В.». Он должен был забрать его на лихтере возле Нанкит-Пойнта.

О подлинном имени получателя капитан Арруда умолчал, считая себя не вправе разглашать доверенную ему тайну. Вице-адмиралтейство в Ньюпорте, не зная, как поступить с неконтрабандным грузом, с одной стороны, но доставленным тайно, без соблюдения необходимых формальностей – с другой, решило последовать предложению контролера Робинсона и пойти на компромисс, освободив корабль, но запретив ему вход в воды Род-Айленда. Позднее ходили слухи, что корабль видели в Бостонской гавани, хотя официально он в порт как будто не вошел.

Удивительное происшествие обсуждали в Провиденсе все, кому не лень, и немногие сомневались в связи злополучных мумий с Джозефом Карвенем. О его экзотических изыска-

ниях и странных химикатах, привозимых со всего света, знали все, а его страсть к кладбищам и вовсе была притчей во языцех, так что не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы соединить вечно вызывавшего подозрения купца с отвратительным грузом, который никому другому в городе не пришло бы в голову заказать. Словно зная, что все только о нем и говорят, Карвен позаботился как бы случайно обронить несколько замечаний о химической ценности бальзамов, которыми пользовались при мумифицировании трупов, вероятно полагая, что ему удастся представить перевозку мумий как дело довольно обычное, однако о своей причастности к грузу он помалкивал. Конечно же, Уиден и Смит не сомневались в ценности не полученных Карвеном мумий и строили самые фантастические предположения относительно его самого и его чудовищных «занятий».

Следующей весной, как год назад, выдались затяжные дожди, и добровольные сыщики не сводили глаз с берега реки за фермой Карвена. Дождевые потоки сильно подмыли склон и обнажили довольно большое количество костей, однако ничего похожего на подземные помещения не оказалось. Тем не менее странные слухи поползли из деревни Потюксет, которая располагалась в миле ниже по течению реки, где, одолев каменный порог, она текла широко и привольно. Здесь причудливые старые домишки словно карабкались по склону холма сразу за деревянным мостом, а рыбацьи лодки дремали на причале. Люди же рассказывали о том, что проплывало мимо них и на мгновение показывалось из воды на перекате. Конечно, Потюксет большая река и протекает мимо многих населенных пунктов, в которых имеются кладбища, и ничего не поделаешь, весной всегда идет большая вода, однако рыбакам на мосту не понравилось, как грозно глядело на них что-то падавшее в тихую воду и кричало еще что-то, что никак не могло кричать.

Смит, ибо Уиден как раз был в плавании, помчался на берег за фермой, рассчитывая отыскать там какие-нибудь доказательства имеющихся подземелий. Однако он ничего не нашел, хотя поток унес с собой большой кусок земли вместе с кустами. Смит даже принялся копать в этом месте, но вскоре бросил, не веря в успех – или боясь успеха. Интересно, как бы на его месте поступил упорный и не забывший о мести Уиден?

4

Осенью 1770 года Уиден решил, что настало время рассказать о своих открытиях. У него набралось достаточно фактов, из которых можно было составить целостную картину, и к тому же имелся свидетель, не позволявший свалить все на ревность и фантазии. В качестве первого слушателя он выбрал капитана Джеймса Мэтьюсона с корабля «Энтерпрайз», который, с одной стороны, хорошо его знал, чтобы не усомниться в его искренности, а с другой – был достаточно влиятелен в городе.

Разговор состоялся на втором этаже в таверне «Сабина» возле причала в присутствии Смита, подтверждавшего каждое слово Уидена, и произвел на капитана Мэтьюсона, как легко было заметить, большое впечатление. Подобно почти всем остальным в городе, капитан не доверял Джозефу Карвену и поверил сразу, как только Уиден выложил ему факты. Под конец он совсем помрачнел и взял с молодых людей клятву, что они не проронят ни слова о своих открытиях. Сам же он, по его словам, собирался передать информацию с глазу на глаз десяти самым образованным и надежным гражданам Провиденса, чтобы выслушать их мнения и последовать их советам. В любом случае следовало соблюдать тайну, ведь полицейские с таким преступлением не могли справиться, да и легковозбудимую толпу лучше было держать в неведении, время-то беспокойное, не дай бог, вспыхнет паника, подобная салеменной, которая случилась меньше века назад и привела Карвена в Провиденс.

Капитан считал, что разумно было бы поставить в известность доктора Бенджамина Уэста, чей труд о прохождении Венеры через меридиан снискал ему славу настоящего ученого,

преподобного Джеймса Мэннинга, ректора колледжа, который совсем недавно переехал из Уоррена и поселился в новой школе на Городской улице, пока не был отстроен его дом на холме над Пресвитериан-лейн, бывшего губернатора Стивена Хопкинса, члена Философского общества в Ньюпорте и чрезвычайно широко образованного человека, Джона Картера, издателя «Газетт», всех четырех братьев Браун – Джона, Джозефа, Николаса и Мозеса, известных городских магнатов, из которых Джозеф, кстати, был ученым-любителем, старого доктора Джеймса Боуэна, который славился своей образованностью и из первых рук владел информацией о странных заказах Карвена, и капитана капера Абрахама Уиппла, славившегося необыкновенной храбростью и силой, который при необходимости мог бы возглавить активные действия. Этим людям в случае надобности можно было собрать вместе для коллективного обсуждения проблемы и возложить на них ответственность за решение, информировать или не информировать губернатора Джозефа Уонтона, который живет в Ньюпорте, перед началом активных действий.

Капитан Мэтьюсон преуспел выше всяких ожиданий. Хотя один или двое из выбранных им людей усомнились в мистической части рассказа Уидена, все сочли необходимым предпринять тайные и скоординированные меры против Карвена, который, как они понимали, представлял угрозу благосостоянию города и колонии и должен был быть уничтожен любой ценой.

В конце декабря 1770 года именитые граждане Провиденса встретились в доме Стивена Хопкинса и обсудили неотложные меры. Записи Уидена, которые он передал капитану Мэтьюсону, были внимательно прочитаны, и его со Смитом призвали на совет прояснить кое-какие детали. Всех собравшихся охватил страх, однако его пересилила мрачная решимость, которую лучше других выразил громогласный и прямолинейный капитан Уиппл. Губернатора решено было не ставить в известность, так как никакой закон тут не требовался. Карвена, властвовавшего над тайными силами, о могуществе которых оставалось только гадать, нельзя было так просто выдворить из города, ведь он мог наслать на него ответные кары. Но даже если бы этот страшный человек согласился уехать, он всего-навсего перенес бы свою дьявольскую деятельность в другое место. Времена наступили беззаконные, и люди, служившие на королевских таможенных судах, ни перед чем не останавливались, если этого требовал долг.

Карвена следовало застать врасплох на его ферме в Потюкете, послав туда большой отряд испытанных матросов, и дать ему шанс объясниться. Если бы он оказался безумцем, забавляющимся разговорами на разные голоса, то его отправили бы в сумасшедший дом. Если же дело серьезнее и подземные ужасы – реальность, то и он, и все остальные должны были умереть. Действовать следовало втайне, чтобы даже жена и ее отец ничего не заподозрили.

Пока шли обсуждения, ужасное и необъяснимое событие потрясло город, так что некоторое время на много миль вокруг больше ни о чем не говорили. Посреди лунной январской ночи, когда земля была укрыта толстым слоем снега, над рекой и на холме вдруг раздались такие вопли, что люди повскакали с постелей и прилипли к окнам. Жители Уэйбоссет-Пойнта увидели, как что-то огромное и белое стремительно бежит по снегу перед таверной «Голова турка». Вдалеке залаяли собаки, но все кончилось так же неожиданно, как началось, едва зашумел проснувшийся город. Мужчины выбежали на улицы с фонарями и мушкетами, однако их поиски не увенчались успехом.

Тем не менее на другое утро на ледяных заторах у южных опор Великого моста было обнаружено совершенно голое тело очень большого и мускулистого мужчины, которого никто не знал и о котором шептались все, кому не лень, правда, большей частью старики, потому что у них заледеневшее лицо с выпученными от ужаса глазами пробудило воспоминания. С дрожью в голосе они обменивались ужасными догадками, ибо в застывших искаженных чертах находили поразительное сходство с человеком, который умер не меньше пятидесяти лет назад.

Эзра Уиден был в числе тех, кто нашел тело, и, вспомнив лай собак ночью, отправился по Уэйбоссет-стрит и через мост Мадди-Док туда, откуда ночью доносились крики. У него было

странное предчувствие, которое его не обмануло, и, дойдя до окраины города, где начинается Потюксет-роуд, он заметил на снегу довольно любопытные следы. Голого гиганта преследовало много обутых людей и собак, и проследить их обратный путь не представляло труда. Они повернули, едва приблизились к городу, и Уиден мрачно усмехнулся, решив довести дело до конца. Как он и предвидел, следы привели его на ферму Джозефа Карвена, и он все отдал бы за то, чтобы двор не был слишком истоптан.

Однако в разгар дня проявлять слишком большой интерес к ферме было опасно, и Уиден немедленно вернулся в город. Он отправился с рассказом к доктору Боуэну, который уже произвел вскрытие странного трупа и обнаружил нечто такое, что привело его в полное недоумение. Гигант как будто никогда не использовал свои органы пищеварения, а его кожа была такой грубой и пористой, какой не бывает у нормального человека.

Уиден сразу уловил суть в бессвязном бормотании старика, изумленного сходством трупа с давно умершим кузнецом Дэниэлем Грином, чей правнук Аарон Хоппин служил суперкарго у Карвена, и стал задавать вопрос за вопросом, пока не узнал, где похоронили Грина. Ночью десять мужчин явились на старое Северное кладбище на Херренден-лейн и вскрыли могилу, которая, как они и ожидали, оказалась пустой.

Тем временем всех почтмейстеров города попросили задерживать корреспонденцию на имя Джозефа Карвена, и незадолго до появления голого трупа было перехвачено письмо от некоего Иедедии Орна из Салема, которое заставило призадуматься объединившихся жителей Провиденса. Куски из него Чарльз Вард отыскал в разных дневниках, хранящихся в семейных архивах. Вот оно:

«Я рад, что вы не оставили свои Прежние Занятия, и не думаю, что мистер Хатчинсон в Салеме сумел добиться большего. Конечно же, не получилось Ничего, кроме живейшего Ужаса, в Том, что Х. воссоздал из имевшейся у него Части. Присланное вами не Сработало, может быть, из-за отсутствия Чего-то, может быть, из-за неправильно Записанных вами или Произнесенных мной Слов. В одиночестве я обречен на Неудачу. У меня нет достаточных познаний в Химии, чтобы следовать Бореллию, и я не могу должным образом прочесть рекомендованную вами книгу VII „Necronomicon“. Однако я настоятельно советую вам соблюдать Осторожность в выборе того, кого вы вызываете, ибо вам известно, что мистер Метер писал в „Маргиналиях...“, и сами можете судить, как справедлива его запись. Снова и снова я повторяю вам, не вызывайте Того, кого вы не в состоянии укротить, потому что Он может сделать что-нибудь такое, против чего вся ваша Власть будет бесполезной. Довольствуйтесь Малым, если великий не пожелает Отвечать, ведь тогда в его власти можете оказаться не только вы. Я испугался, когда прочитал о том, как вы узнали, что Бен Заристнатмик прятал в своей Эбонитовой Шкатулке, потому что догадываюсь, кто вам сказал об этом. И вновь я прошу вас писать мне на имя Иедедии, а не Саймона. Здесь Человек не может жить слишком долго, и вам известен мой План, по которому я вернусь сюда в качестве моего Сына. Я с нетерпением жду, когда вы Познакомите меня с тем, что Черный Человек узнал от Сильвана Коцидия в Склепе под Римской стеной, и буду премного вам благодарен, если вы Одолжите мне на время рукопись, о которой вы говорили».

Другое неподписанное письмо из Филадельфии тоже наводило на размышления, особенно это место:

«Я позабочусь о том, чтобы отправлять заказанный вами Груз только на ваших Кораблях, однако мне, как правило, неизвестно, когда их ожидать.

В нашем с вами Деле я требую только одного, но хочу быть уверенным, что правильно вас понял. Вы ставите меня в известность, что ни одна Часть не должна быть утеряна, а иначе вам невозможно добиться желаемых Результатов, однако вы должны знать, как трудно быть в чем-либо уверенным. Весьма Рискованно, да и Тяжело выносить Гроб целиком, а в Городе (я имею в виду соборы Святого Петра, Святого Павла, Святой Марии или церковь Христа Спасителя) это и вовсе невозможно. Однако я знаю, сколь несовершенны были воссозданные в Октябре и как много живых Образцов вы были принуждены использовать, прежде чем нашли правильный Путь в 1766 году, так что остаюсь вашим учеником в сих Изысканиях. Я с нетерпением жду ваш Корабль и каждый день наведываюсь на причал мистера Биддла».

Третье подозрительное письмо было на неизвестном языке с неизвестным алфавитом. В дневнике Смита, найденном Чарльзом Вардом, сохранилась единственная и довольно топорная копия, изученная в университете Брауна и признанная амхарским, или абиссинским, алфавитом, однако понять не удалось ни слова.

Ни одно из этих писем не было доставлено Карвену, хотя вскоре стало известно об исчезновении из Салема некоего Иедедии Орна, из коего следовало, что граждане Провиденса взяли за дело. В Пенсильванском историческом музее также хранится несколько любопытных писем, полученных доктором Шиппенем, относительно появления в Филадельфии подозрительного субъекта.

Однако назрела необходимость более решительных действий, и главный результат открытий Уидена заключался в тайных ночных собраниях проверенных матросов и преданных старых шкиперов на складах Браунов. Медленно, но неуклонно разрабатывался план кампании, которая не должна была оставить и следа от зловещих тайн Джозефа Карвена.

Несмотря на все предосторожности, Карвен что-то учуял, потому что никогда еще у него не было такого озабоченного вида. Его коляску в самое разное время видели в городе и на Потюксет-роуд, и мало-помалу на его лице не осталось притворной веселости, с помощью которой он в последнее время противостоял всеобщему недоверию. Его ближайшие соседи Феннеры однажды ночью видели яркий луч света, вылетевший в небо из дыры в крыше таинственного каменного здания с окнами-бойницами, о чем они немедленно сообщили в Провиденс Джону Брауну. Мистер Браун, который стал во главе граждан, решивших покончить с Карвенном, сообщил Феннерам, что в ближайшем будущем против Карвена будут приняты решительные меры.

Он счел это необходимым, ибо они все равно стали бы свидетелями нападения на ферму, однако объяснил заговор тем, что Карвен якобы шпион ньюпортских таможенников, которых ненавидели все до единого шкиперы, торговцы и фермеры Провиденса. Неизвестно, поверили или не поверили ему Феннеры, которые видели много странного на ферме Карвена, однако они с готовностью приняли эту версию. На них мистер Браун возложил обязанность следить за фермой и сообщать ему обо всем, что на ней происходит.

5

Вероятно, развязку ускорило то, что Карвен насторожился и вознамерился предпринять что-то совсем уж необычное, недаром над крышей каменного дома появился свет. Как явствует из дневника Смита, около ста мужчин в десять часов вечера в пятницу двенадцатого апреля 1771 года сошлись в большом зале таверны «Золотой лев» в Уэйбоссет-Пойнте, принадлежавшей Тарстону. Из «отцов города», кроме Джона Брауна, там были доктор Боуэн со своим хирургическим саквояжем, ректор Мэннинг без своего знаменитого парика (самого пышного в колониях), губернатор Хопкинс в черном плаще, пришедший с братом-моряком Изехом, кото-

рого он поставил обо всем в известность с согласия остальных заговорщиков, Джон Картер, капитан Мэтьюсон и капитан Уиппл, которому было поручено возглавить экспедицию.

Сначала они уединились в задней комнате, а потом капитан Уиппл вышел в залу, чтобы взять с собравшихся последнюю клятву и дать им последние указания. Элеазар Смит находился в комнате с главными заговорщиками, ожидая прибытия Эзры Уидена, чьей обязанностью было не спускать глаз с Карвена и немедленно сообщить о его отъезде на ферму.

Около половины десятого с Великого моста донесся громкий стук копыт, после чего шум постепенно стих на Потюксет-роуд и отпала необходимость дожидаться Уидена, чтобы узнать, куда и зачем отправился колдун. Буквально через минуту, едва наступила тишина, появился Уиден, и рейдеры, вооруженные мушкетами, охотничьими ружьями и гарпунами, молча построились на площади перед таверной. Уиден и Смит были вместе с ними так же, как капитан Уиппл, принявший на себя командование, капитан Изех Хопкинс, Джон Картер, ректор Мэннинг, капитан Мэтьюсон и доктор Боуэн. В одиннадцать часов к ним присоединился Мозес Браун, который не присутствовал на собрании в таверне. Все эти именитые граждане Провиденса и сотня матросов без промедления отправились в путь, немного помрачнев и забеспокоившись, когда позади остался мост Мадди-Док и они пошли по Броуд-стрит к Потюксет-роуд.

Сразу за церковью старшего Сноу несколько человек обернулись, чтобы попрощаться с Провиденсом, освещенным весенними звездами. Черные четкие силуэты шпилей и двускатных крыш поднимались высоко в небо, соленый ласковый ветер летел к ним с моря. Вега стояла над большим холмом с другой стороны бухты, на котором недостроенное здание колледжа было словно окружено непроходимыми лесами. У подножия холма и вдоль узких, поднимающихся вверх улиц спал старый город, старый Провиденс, ради безопасности и здравомыслия которого необходимо было стереть с лица земли чудовищного святотатца.

Через час с четвертью рейдеры, согласно предварительной договоренности, явились к Феннерам, где они выслушали последнее сообщение относительно намеченной жертвы. Карвен приехал на свою ферму полчаса назад, и странный свет вновь один раз появился над крышей, хотя окна оставались темными. Так всегда было в последнее время. В это мгновение еще один луч поднялся вверх и повернул к югу, и у всех появилось предчувствие чего-то ужасного.

Капитан Уиппл приказал рейдерам разделиться на три отряда. Первый отряд из двадцати человек под командованием Элеазара Смита должен был идти к реке и следить там за пристанью на случай, если к Карвену прибудет подкрепление, пока вестовой не принесет другой приказ. Второй отряд из двадцати человек под командованием капитана Изеха Хопкинса должен был бесшумно пройти в долину за фермой Карвена и разбить топорами или выстрелами дубовую дверь на крутом берегу. А третий отряд должен был окружить дом и все прочие постройки на ферме. Из этого отряда одна треть под командованием капитана Мэтьюсона должна была идти к таинственному каменному дому с окнами-бойницами, другая треть под командованием самого капитана Уиппла – идти к фермерскому дому, и оставшаяся треть – окружить ферму и ждать сигнала.

Отряду, который направлялся на крутой берег, надлежало, услышав один свисток, взломать дверь и взять в плен всех, кто бы ни оказался за ней. Два свистка означали, что ему надо ворваться в подземелье и там сразиться с врагом или соединиться со своими.

Отряд, направлявшийся к каменному зданию, должен был действовать примерно так же: услышав один свисток, взломать дверь, услышав два – прорываться внутрь и соединяться с нападающими в подземелье. Сигнал из трех свистков означал незамедлительное возвращение резервного отряда и разделение его на десять и десять человек, которым следовало прорываться в подземелье через фермерский дом и каменный дом. Капитан Уиппл ни секунды не сомневался в существовании подземных помещений и не продумал запасного варианта. У него был при себе свисток с очень громким и пронзительным звуком, и он не боялся, что кто-то

перепутает его сигналы. Лишь резервный отряд мог не расслышать сигнал, и тогда пришлось бы посылать к нему гонца.

Мозес Браун и Джон Картер отправились вместе с капитаном Хопкинсом на берег реки, а ректор Мэннинг должен был сопровождать капитана Мэтьюсона к каменному дому. Доктор Боуэн и Эзра Уиден оставались в распоряжении капитана Уиппла, чтобы с ним вместе штурмовать фермерский дом. Атаку решили начать, как только гонец от капитана Хопкинса принесет капитану Уипплу известие о готовности капитана Хопкинса и его отряда. Тогда капитан Уиппл дунет в свисток, и все отряды начнут действовать. Около часа ночи три отряда покинули ферму Феннеров. Один отправился сторожить пристань, другой – искать дубовую дверь, и третий, разделившись на два отряда, – захватывать два дома на ферме Карвена.

Элезар Смит, который был в первом отряде, сделал в своем дневнике запись о беспрепятственном переходе и долгом ожидании, прерванном один раз далеким сигналом, а потом странным приглушенным рычанием, криками и последовавшим за ними взрывом в том же направлении. Позднее один из его людей как будто расслышал далекие выстрелы, и еще позднее сам Смит услышал, как содрогнулся воздух от громовых слов.

Незадолго до рассвета к ним прибежал измученный гонец с диким взглядом, от одежды которого исходил зловещий и непонятный запах, и он сказал, чтобы все тихо расходились по домам и думать забыли о ночной экспедиции и о том, кого называли Джозеф Карвен. Было в этом человеке что-то такое, что убедило рейдеров лучше всяких слов, хотя он служил обыкновенным матросом, как остальные, и многие его знали, но только душа у него стала после этой ночи другая, и он до конца жизни предпочитал держаться в стороне от людей.

То же самое было с другими рейдерами, которых отряд Смита встретил позже и которые прошли через зону ужаса. Все они изменились, то ли потеряв, то ли приобретя что-то почти неуловимое и невыразимое. Они увидели, или услышали, или почувствовали что-то не предназначенное для смертных и не могли об этом забыть. Никому они не сказали ни слова, видно, даже самый естественный человеческий инстинкт имеет определенные пределы. От гонца всему отряду Смита передан невыразимый страх, запечатавший им уста. Почти ничего не узнали от них люди, и дневник Элезара Смита – единственный письменный документ, оставшийся от экспедиции, которая началась в таверне «Золотой лев» в звездную весеннюю ночь.

Чарльз Вард тем не менее отыскал косвенные свидетельства в письмах Феннеров, обнаруженных им в Новом Лондоне, где, как ему стало известно, проживала другая ветвь этой семьи. Из дома Феннеров была неплохо видна соседняя ферма, и, похоже, они смотрели вслед рейдерам. Потом они услышали злой лай карвенских собак и первый сигнальный свисток. За ним последовала новая вспышка света над каменным домом, и сразу же раздался второй сигнал, после чего до них донеслись приглушенные выстрелы и ужасный крик, который Люк Феннер изобразил в письме как «Вааахррр – Р’вааахрр». Было в этом крике что-то такое, чего нельзя передать никакими буквами, и Люк Феннер приписал, что его мать потеряла сознание, заслышав его. Потом крик повторился еще раз, но уже не так громко, снова стали стрелять из мушкетов, и на реке прогремел взрыв.

Примерно через час испуганно залаяли собаки, и земля как будто начала качаться, по крайней мере зазвенели подсвечники на каминной полке. Появился сильный запах серы, и отец Люка Феннера заявил, что слышит третий сигнал, хотя никто больше его не слышал. Опять раздались приглушенные выстрелы, и кто-то закричал негромко, но страшнее прежнего, правда, это был даже не крик, а отвратительный кашель самых разных видов, идущий глубоко из горла, который на крик был похож только тем, что продолжался невыносимо долго и был громким.

Потом на месте фермы будто вспыхнуло пламя и появилась огненная фигура. Отчаянно закричали люди. Затрещали мушкеты. Она упала на землю. Появилась вторая огнен-

ная фигура, и опять завопили люди. Феннер записал, что он даже расслышал несколько слов, выкрикнутых в отчаянии: «Защити, Всемогущий, агнца Твоего!»

Опять начали стрелять, и вторая фигура тоже упала. Примерно три четверти часа стояла тишина. А потом маленький Артур Феннер, братишка Люка, крикнул, что видит «красный туман», который поднимается к звездам от проклятой фермы. Никто, кроме малыша, его не видел, но Люк заметил, что как раз в этот момент их трех кошек, которые были в комнате, охватил панический страх, отчего они выгнули спины и шерсть встала у них дыбом.

Через пять минут подул ледяной ветер, и воздух наполнился таким нестерпимым зловонием, что только благодаря сильному ветру с моря никто не заметил его ни на берегу, ни в деревне Потюксет. Ничего подобного Феннеры не знали раньше, но они испытали непонятный страх, словно стояли на краю разверстой могилы. И сразу же они услышали ужасный голос, который им не забыть до самой смерти. Он гремел с неба, словно наступил день Страшного суда, и когда он стих, слышно стало, как звенят стекла в окнах. Голос был низкий и звучный, властный, как музыка большого органа, но злой, как запретные книги арабов.

Никто не понял слов, потому что они были произнесены на незнакомом языке, но Люк Феннер все же попытался записать их так, как услышал: «ДИИСМИИС – ДЖЕШЕТ – БОНИДОСИФИДЬЮВИМА – ЭНТТИМОСС». До самого 1919 года ни один человек не находил в этой записи ничего интересного, и Чарльз Вард первым узнал слова, которые Мирандолла с дрожью назвал самым ужасным заклинанием в черной магии, и побелел от ужаса.

На этот дьявольский вызов ответил человек, нет, целый хор человеческих голосов с фермы Карвена, после чего к зловонию примешался еще какой-то нестерпимый запах. Послышался вой, совсем непохожий на прежние крики, который то становился громче, то почти затихал. Временами в нем даже удавалось различать отдельные звуки, но не слова, а один раз он перешел в ужасный истерический хохот. Вопль беспредельного ужаса и ярости вырвался из десятков человеческих глоток, и он был отлично слышен, несмотря на глубину, из которой поднялся, а потом наступили тьма и тишина. Едкий дым клубами поднимался в небо, закрывая звезды, хотя нигде не было никакого пожара, и на другой день все постройки на ферме Карвена стояли, как стояли там прежде.

Ближе к утру два посланца с ужасным запахом, исходившим от их одежды, постучались к Феннерам и попросили дать им ром, за который они щедро заплатили. Один из них сказал, что с Джозефом Карвенем покончено раз и навсегда, а Феннерам не надо никому рассказывать о событиях этой ночи. Вряд ли этот человек имел право приказывать, однако было в нем что-то такое, от чего никому в голову не пришло его послушаться, и лишь случайно сохранившиеся письма Люка Феннера, которые он посылал родственнику в Коннектикут и заклинал уничтожить, рассказывают нам о том, что он видел и слышал той ночью.

Благодаря необязательности родственника письма сохранились и не позволили тем событиям кануть в небытие. В результате долгих поисков и бесконечных бесед с жителями деревни Чарльз Вард мог бы добавить к рассказу Люка лишь одну подробность. Старый Чарльз Слокум сказал ему, будто до его деда дошел странный слух об обуглившемся, изуродованном трупе, найденном в поле через неделю после объявленной смерти Джозефа Карвена. Запомнили же об этом потому, что тело, насколько можно было судить по его состоянию, не принадлежало ни человеку, ни известному жителям Потюксета – хотя бы по книгам – животному.

6

Ни один человек, участвовавший в ночной экспедиции, ни разу не проронил о ней ни слова, и все нам известное исходит от людей, не имевших отношения к последнему сражению. Есть что-то пугающее в том, с какой тщательностью рейдеры уничтожали память о том событии.

Восемь матросов были убиты, и семьям, которым не были возвращены тела, пришлось довольствоваться рассказом о столкновении с таможенниками. Той же причиной объяснили бесчисленные ранения, тщательно забинтованные и пролеченные доктором Джейбзом Боуэном, сопровождавшим рейдеров. Труднее было объяснить запах, исходивший от одежды, и об этом в городе шушукались несколько недель подряд.

Из городских столпов больше других досталось капитану Уипплу и Мозесу Брауну, и письма их жен подтверждают, с какой страстью раненые отказывались от их помощи, когда дело касалось перевязок. Все рейдеры без исключения как-то сразу постарели и помрачнели после той ночи. Счастье еще, что все они привыкли встречаться лицом к лицу с опасностью и были людьми попросту и искренне верующими, потому что, имея они привычку копаться в своих переживаниях или сомневаться в непререкаемых истинах, им бы пришлось куда хуже.

В этом смысле более других пострадал ректор Мэннинг, но и ему с помощью молитв удалось заглушить воспоминания. Каждый из руководителей экспедиции в последующие годы активно участвовал в каких-нибудь событиях, и, наверное, так было для них лучше. Чуть больше чем через год капитан Уиппл повел за собой толпу, которая сожгла таможенный корабль «Гаспи», и этот его храбрый поступок, вероятно, был одним из шагов к избавлению от ужасных воспоминаний.

Вдова Джозефа Карвена получила запечатанный свинцовый гроб очень странного вида, несомненно, вовремя найденный на ферме, в котором, как ей сказали, лежало тело ее мужа. Его будто бы убили во время стычки с таможенниками, о чем, принимая во внимание политику, лучше не распространяться. Больше никто ни единым словом не обмолвился о кончине Джозефа Карвена, и Чарльз Вард имел в своем распоряжении лишь один малопонятный намек, на котором выстроил целую теорию.

Ниточка, за которую он уцепился, была отчеркнутым дрожащей рукой пассажем из утраченного от Карвена письма Иедедии Орна, частично переписанного Эзрой Уиденом. Его копия обнаружилась у потомков Смита, и нам остается только гадать, то ли сам Уиден в качестве ключа к имевшей место дьявольщине в конце концов отдал ее приятелю, то ли, что гораздо правдоподобнее, она еще раньше оказалась у Смита, и это он подчеркнул строчки, выудив из Уидена все, что только было возможно. Вот этот отрывок:

«Снова и снова я повторяю вам, не вызывайте Того, кого вы не в состоянии укротить, потому что Он может сделать что-нибудь такое, против чего вся ваша Власть будет бесполезной. Довольствуйтесь Малым, если великий не пожелает Отвечать, ведь тогда в его власти можете оказаться не только вы».

Перечитывая эти строчки и размышляя о том, каких неупоминаемых союзников побежденный колдун мог призвать к себе в минуту непосредственной опасности, Чарльз Вард имел основания усомниться в том, что жители Провиденса убили Джозефа Карвена.

Руководители экспедиции приложили немало усилий, чтобы уничтожить всякую память о погибшем в умах жителей и в документах города Провиденс. Вначале они были настроены менее решительно и позволили вдове, ее дочери и ее отцу оставаться в неведении относительно истинного положения дел, однако капитан Тиллингаст был человеком проникательным и вскоре, сопоставив слухи, в ужасе велел дочери и внучке поменять фамилию, сжечь библиотеку и все бумаги, а также стереть надпись с надгробия Джозефа Карвена. Он дружил с капитаном Уипплом и, вполне вероятно, выудил из храброго моряка больше сведений, чем кто-либо другой, о гибели проклятого колдуна.

С этого времени началось постепенное уничтожение памяти о Карвене, которое привело к изъятию его имени из городских документов и из всех номеров «Газетт». Сравнить это по духу можно разве что с запретом на имя Оскара Уайльда в течение десяти лет после его позора,

а по всеохватности – с судьбой провинившегося короля Рунагура из рассказа лорда Дансейни, которого боги решили не только извести, но и предать полному забвению.

Миссис Тиллингаст, как вдова стала называть себя после 1772 года, продала дом на Олникорт и жила вместе с отцом на Пауэр-лейн до своей смерти в 1817 году. Ферма на Потюксет-роуд, на которую не заглядывала ни одна живая душа, вскоре пришла в запустение, а потом начала с невиданной быстротой разваливаться. В 1780 году кирпичные и каменные строения еще были в целости и сохранности, а в 1880 году от них остались лишь бесформенные груды кирпичей и камней. Никто не смел даже приближаться к кустам на берегу реки, за которыми могла скрываться дубовая дверь, и никто даже не пытался восстановить обстоятельства, при которых Джозеф Карвен покинул им же порожденный кошмар.

Лишь старый капитан Уиппл, бывало, бормотал при свидетелях:

– Чума ему в бок... нечего было смеяться, коли кричишь, так кричи. Похоже, проклятый... уж не припрятал ли он чего? Моя бы воля, я бы сжег его... дом.

III. Сбор сведений и вызов духов

1

Известно, что Чарльз Вард узнал о своем предке Джозефе Карвене в 1918 году. И не стоит удивляться, что он немедленно и очень живо заинтересовался его тайнами. С той поры любой слух о Карвене стал жизненно важным для юноши, в котором текла кровь колдуна. Все историки и все исследователи генеалогий, наделенные талантом и воображением, повели бы себя в этой ситуации точно так же и непременно принялись бы за систематический поиск сведений о Карвене.

Что касается первых находок Чарльза Варда, то ему и в голову не приходило делать из них тайну, так что даже доктор Лиман колебался в диагнозе до конца 1919 года. Вард открыто и обо всем говорил с родителями, хотя его матери не очень нравилось иметь в предках Карвена, и со служителями разных музеев и библиотек, в которых он работал. Обращаясь за содействием к владельцам семейных архивов, он не скрывал цели своих изысканий и разделял с ними насмешливый скептицизм в отношении авторов давних дневников и писем. Но при этом выказывал явное любопытство к тому, что произошло полтора столетия назад на ферме в Потюксете, следы которой он напрасно пытался отыскать, и кем на самом деле был Джозеф Карвен.

Когда ему в руки попались дневники Смита, а также кое-какие архивы и переписанное письмо Иедедии Орна, он решил поехать в Салем и поискать там следы деятельности и жизни Карвена, что и сделал во время пасхальных каникул 1919 года. Его весьма благожелательно встретили в институте Эссекса, который был ему хорошо знаком по прежним визитам в очаровательный старинный городок с разрушающимися фронтонами и двускатными крышами на домах пуритан, и он обнаружил там довольно много материалов о Карвене.

Теперь ему было известно, что его предок родился в деревне Салем, теперешнем Данверсе, расположенной в семи милях от города, восемнадцатого февраля (по старому стилю) то ли 1662, то ли 1663 года и в возрасте пятнадцати лет сбежал за море, явившись обратно через девять лет в платье, с манерами и выговором настоящего англичанина, чтобы опять поселиться в Салеме. Он почти не поддерживал связей со своей семьей, зато большую часть времени проводил, читая привезенные из Европы странные книги и ставя опыты с веществами, доставляемыми ему из Англии, Франции и Голландии. Его прогулки по окрестностям вызвали немалое любопытство местных жителей, которые шепотом пересказывали слухи о таинственных ночных кострах в горах.

Близкими друзьями Карвена стали Эдвард Хатчинсон из деревни Салем и Саймон Орн из самого Салема. Его часто видели беседующим с ними об их Общих Делах, и они нередко хаживали друг к другу в гости. У Хатчинсона имелся дом возле самого леса, к которому чувствительные салемицы относились с предубеждением из-за криков, доносившихся оттуда по ночам. Поговаривали, будто он принимал странных визитеров и свет в его окнах не всегда был одного цвета. Подозрительным было и то, что он довольно много знал – и не скрывал этого – о давно умерших людях и давно забытых событиях, а когда началась ведьминская паника, он исчез и больше о нем в Салеме не слышали.

В это же время исчез и Джозеф Карвен, однако в Салеме скоро стало известно, что он поселился в Провиденсе. Саймон Орн оставался в Салеме до 1720 года, пока его молодость не начала вызывать пристальное внимание окружающих его людей. Тогда он тоже уехал, но через тридцать лет явился его сын, похожий на него как две капли воды, и предъявил права на наследство, которое он получил, так как невозможно было оспорить документы, написанные

рукой Саймона Орна, и Иедедия Орн прожил в Салеме до 1771 года, пока письма из Провиденса, адресованные преподобному Томасу Барнарду и другим почтенным жителям Салема, не побудили их без лишнего шума выпроводить его подальше от этих мест.

Некоторые документы о том времени вообще и о странных событиях того времени были предоставлены Варду институтом Эссекса, судебным архивом и архивом мэрии, и они включали в себя как безобидные списки местных названий и договоров о продаже, так и весьма интересные сведения: например, четыре или пять непосредственных откликов на суды над колдунами. Так, например, некая Хепзиба Лоусон свидетельствовала десятого июля 1692 года в суде под председательством судьи Хеторна о том, что «сорок Ведьм и один Черный Мужчина сходились на шабаши в Лесу за домом мистера Хатчинсона», а некая Эмити Хау заявила восьмого августа судье Гедни, что «мистер Д.Б. (Джордж Берроуз) в одну из ночей наложил Дьявольский Знак на Бриджет С., Джонатана А., Саймона О., Деливеранс У., Джозефа К., Сюзан П., Митабл К. и Дебору Б.». Здесь же отыскался каталог непотребных книг из библиотеки Хатчинсона, которую он бросил из-за спешного бегства, и незаконченный трактат, написанный его рукой и зашифрованный так, что прочесть его никому не удалось.

Вард заказал фотокопию трактата и, получив ее, сразу же засел за расшифровку. После августа его работа приобрела лихорадочный характер, и есть основания думать, судя по его тогдашним речам и поведению, что в октябре или ноябре он нашел ключ к шифру. Однако сам он ни разу не признался в этом.

Необыкновенный интерес представляли материалы Орна. Варду не потребовалось много времени, чтобы по почерку сохранившихся документов и письма, адресованного Карвену, доказать, что Саймон Орн и его так называемый сын – один и тот же человек. Ведь и сам Орн сообщал своему адресату о трудностях, возникших в связи с его долголетием, из-за которых он вынужден был на тридцать лет покинуть Салем и вернуться обратно в качестве собственного сына. Орн предусмотрительно уничтожил большую часть своей корреспонденции, однако граждане Салема, занявшиеся им в 1771 году, нашли и сохранили несколько писем и документов, которые привлекли их особое внимание, ибо состояли из загадочных формул и диаграмм, написанных его и не его почерками. Вард или сам тщательно скопировал их, или заказал фотокопии, а в почерке одного особенно таинственного письма, которое изыскатель слыл с книгой актов в архиве мэрии, он безоговорочно узнал руку Джозефа Карвена.

Это письмо Карвена с необозначенным годом не могло быть тем, на которое прислал известный конфискованный ответ Орн, но по его содержанию Вард установил, что оно было написано если не в 1750 году, то ненамного позже. Имеет смысл привести это письмо целиком как образчик стиля того, чья жизнь была столь ужасна. Адресовано оно «Саймону», однако имя зачеркнуто (неизвестно, то ли Карвенем, то ли Орном).

«1 мая, Провиденс.

Брат! Приветствую тебя, мой Старый добрый друг в Поклонении и истинном Служении Тому, Кто наделит нас беспредельной Властью. Мне только что стало известно нечто интересное и для тебя относительно Последних Событий и того, как теперь должно поступать. Я не расположен следовать твоему примеру и бежать Прочь из-за моих лет, ибо в Провиденсе, в отличие от других мест, не гоняются за необычными Людьми и не тащат их в Суд. Меня приязывают к месту Корабли и Товары, и я не могу поступить, как ты, еще и из-за моей фермы в Потюксете, под которой есть То, что не будет тридцать лет ждать моего Возвращения под Другим именем.

Однако и я готов к тяжелым временам, как я уже писал тебе, поэтому постоянно думал о том, как возвратиться к Начатому, если придется все Бросить. Вчера Ночью я узнал наконец Слова, которыми теперь могу призвать ЙОГ-СОТОТА, и в первый Раз лицезрел того, о ком писал Ибн Шакабак в...

Он сказал, что в третьем псалме Проклятой Книги содержится Ключ. Когда Солнце перейдет в пятый Дом и Сатурн будет в Триаде, начерти пентаграмму Огня и трижды повтори девятый стих. Этот же Стих повторяй каждую Страстную пятницу и в канун Дня Всех Святых, и нечто появится во Внешних Сферах.

Из Старого Семени родится Тот, кто поглядит Назад, хотя и не будет знать, что он ищет.

Но не будет Ничего, если не будет Наследника и если Соли или Способ приготовления Солей не будет Прочитан для Него. А в этом, признаюсь, я не предпринимал почти никаких Шагов и не преуспел. Дело это трудное и движется медленно, а также требует большого количества Опытов, для которых мне Не хватает материала, несмотря на матросов из Вест-Индии. Да и Люди начинают любопытствовать, хотя мне до сих пор удавалось держать их на расстоянии. Купечество хуже Простонародья, ибо более Дотошно и пользуется доверием. Парсон и мистер Мерритт, боюсь, уже ведут разговоры за моей спиной, но пока я не предвижу Опасность. Химические вещества доставать легче, ибо в городе есть две хорошие аптеки, которые принадлежат доктору Боуэну и Сэму Кэрю. Я следую за Бореллием и много полезного нахожу у Абдулы Алхазреда в седьмой книге. Все, что станет мне известно, будет известно и тебе. А пока не пренебреги Словами, которые я пишу тебе отдельно, ибо они Правильные, если пожелаешь увидеть ЕГО. Скажи нужные Стихи в Святую пятницу и в День Всех Святых, и если Род не прервется, *через много лет придет тот, кто оглянется назад и использует те Соли или те Вещества для Солей, которые ты оставишь ему.* Смотри Книгу Иова XIV, 14.

У меня есть отличная лошадь, и я подумываю купить коляску, так как в Провиденсе одна уже есть (у мистера Мерритта), хотя дороги у нас плохие. Если ты расположен отправиться в путь, то заверни ко мне. В Бостоне садись в почтовый дилижанс и езжай через Дедхам, Рентам и Атлборо, где есть отличные таверны. Остановись у мистера Болкома в Рентаме, ибо у него постели лучше, чем у мистера Хэтча, но обедать ходи к мистеру Хэтчу, ибо у него повар лучше. Поверни в Провиденс возле Потюксетского переката и поезжай мимо таверны мистера Сейлса. Мой дом стоит против таверны мистера Эпенетуса Олни рядом с Городской улицей, первый дом на Олни-корт. От Бостона до Провиденса прим. XLIV мили.

Остаюсь твоим преданным другом и слугой во имя Алмонсин-Метратона

Джозефус К.

Мистеру Саймону Орну,

Уильям-лейн, Салем».

Как ни странно, именно из этого письма Вард узнал о точном местоположении дома Карвена в Провиденсе, ибо никакие архивы не сохранили эти сведения. Находка оказалась вдвойне ценной, так как указывала на место, где Карвен поставил свой новый дом в 1761 году и где он стоит до сих пор. Вард отлично знал его еще из своих скитаний по Стэмперс-Хилл. Кстати, он находился совсем недалеко от его собственного дома, построенного чуть выше на холме, и принадлежал негритянской семье, занимавшейся стиркой, уборкой и чисткой дымоходов.

Вард был под большим впечатлением от находки, сделанной в далеком Салеме, которая дала ему доказательство того, чем это семейное гнездо было в истории его собственной семьи, и он решил немедленно по приезде обследовать его. Более загадочные куски письма он счел символическими и не обратил на них внимания, хотя и отметил с изумлением, что отлично помнит стих четырнадцатый в четырнадцатой главе Книги Иова: «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена».

2

Юный Вард возвратился домой в состоянии приятного возбуждения и всю субботу посвятил осмотру дома на Олни-корт. Этот дом, обветшавший со временем, никогда не был роскошным – обыкновенное деревянное строение городского типа в два с половиной этажа в стиле колониального Провиденса, с остроугольной крышей, широкой трубой посередине, великолепной резной дверью, над которой было окошко веером, с треугольным фронтоном и стройными дорическими колоннами. Он почти не подвергся переделкам, и Вард чувствовал, что подобрался совсем близко к страшной цели своих изысканий.

С негритянской семьей он был знаком, и Аза с толстой женой Ханной почтительно проводили его внутрь. Здесь перемен оказалось больше, чем можно было предположить, глядя на дом снаружи, и Вард посетовал, что уже нет доброй половины каминных украшений и резных шкафов, а великолепные деревянные панели и лепнина поломаны, замазаны, расцарапаны или заклеены дешевыми бумажными обоями. В целом он узнал гораздо меньше, чем ожидал, однако он удовольствовался волнением, которое испытал, стоя в стенах дома, принадлежавшего такому страшному человеку, как Джозеф Карвен. Его затрясло, когда он заметил, как тщательно стерта монограмма владельца со старинного медного дверного молотка.

С этого времени и до самого окончания школы Вард все время проводил за расшифровкой рукописи Хатчинсона и сбором сведений о Карвене. С расшифровкой у него ничего не получалось, но сведений у него вскоре скопилось довольно много, и много документов оказалось в частных архивах Нового Лондона и Нью-Йорка, так что он собрался в путь. Поездка оказалась очень продуктивной, ибо подарила ему письма Феннера с рассказом об экспедиции на ферму Карвена и переписку Найтингейла-Талбота, из которой он узнал о портрете на деревянной панели в библиотеке Карвена. Его особенно заинтересовал портрет, потому что ему очень хотелось знать, как выглядел Джозеф Карвен, и он решил еще раз осмотреть дом на Олни-корт в надежде найти изображение своего предка под слоем старой краски или под обоями.

В начале августа Вард начал поиски, внимательно осматривая все стены во всех комнатах, которые могли служить библиотекой их первому и зловещему хозяину. Особое внимание Вард уделил большим панелям над каминами и уже через час испытал ни с чем не сравнимое волнение, когда соскреб немного краски с широкой панели над камином на первом этаже и убедился, что она темнее остальных. Сделав острым ножом еще несколько аккуратных соскобов, он уже твердо знал, где находится писанный маслом портрет.

Проявив, как настоящий ученый, недюжинную выдержку, мальчик не стал рисковать портретом, хотя ему очень хотелось немедленно его увидеть, и удалился за профессиональной подмогой. Через три дня он возвратился с известным художником, мистером Уолтером Дуайтом, чья мастерская располагалась недалеко от Колледж-Хилл. Опытный реставратор немедленно принялся за работу, действуя профессионально и применяя правильные химикаты. Старый Аза и его жена, несколько встревоженные поведением странных визитеров, были щедро вознаграждены за причиненное неудобство.

День за днем, пока художник делал свое дело, Чарльз Вард с возрастающим любопытством следил за появлением новых линий и теней, извлекаемых из забвения. Дуайт начал с нижней части панели, а так как портрет был сделан в три четверти натуральной величины, то лицо появилось далеко не сразу. Сначала Вард убедился, что перед ним худощавый стройный мужчина в темно-синем камзоле, вышитом жилете, коротких штанах из черного атласа и белых шелковых чулках, сидевший в резном деревянном кресле на фоне окна, в котором видны были причал и корабли.

Когда Дуайт расчищал голову, то первым делом он взялся за аккуратный парик, а потом за тонкое, спокойное, ничем не примечательное лицо, показавшееся знакомым и Варду, и

художнику. Лишь в самом конце, когда бледное лицо было расчищено полностью, у художника и его заказчика от изумления перехватило дыхание. Они поняли, какую зловещую шутку сыграла непредсказуемая наследственность. Только когда художник в последний раз прикоснулся к портрету и на свет явилось то, что столетиями было скрыто от людских глаз, пораженный Чарльз Декстер Вард, вечно устремленный в прошлое, увидел самого себя в облике своего ужасного прапрапрадедушки.

Вард привел родителей, чтобы они тоже посмотрели на его открытие, и его отец немедленно решил купить портрет, хотя он был выполнен на деревянной стенной панели. Сходство с сыном, несмотря на облачение восемнадцатого века, было поразительным. Природа ровно через полтора столетия создала двойника Джозефа Карвена. Зато миссис Вард совсем не походила на своего предка, хотя она вспомнила кое-кого из своих родственников, которые были похожи и на ее сына, и на давно умершего Джозефа Карвена.

Ей открытие пришлось не по душе, и она сказала мужу, что портрет лучше сжечь, чем тащить в дом. Она уверяла, что не видит в нем ничего хорошего, наоборот, он противен ей своим сходством с Чарльзом. Однако мистер Вард был человеком действия, властным дельцом, который заправлял большими делами, имея многочисленные ткацкие фабрики в Риверсайде и долине Потюксет, поэтому не имел обыкновения прислушиваться к женской болтовне. Портрет произвел на него неизгладимое впечатление сходством с его сыном, и он не сомневался, что мальчик заслужил такой подарок. Нечего и говорить, что тот немедленно встал на сторону отца, и через несколько дней мистер Вард, пригласив владельца дома и нотариуса, маленького человечка с крысиным лицом и глуховатым голосом, стал владельцем камина и панели с портретом, сразу назвав сумму, которая исключила возможность торговли и почти неизбежных сетований на трудную жизнь.

Оставалось только перенести панель в дом Вардов, где для нее уже было приготовлено место над электрическим камином в кабинете Чарльза на третьем этаже. На Чарльза была возложена обязанность проследить за перемещением портрета, и двадцать восьмого августа он сопровождал двух опытных рабочих из фирмы Крукера в дом на Олни-корт, где камин и панель над камином были с большой осторожностью вынуты из стены и перенесены в машину.

Глазам присутствовавших открылась кирпичная кладка дымохода, и там-то юный Вард обнаружил углубление шириной в фут, по-видимому, на уровне нарисованной головы. Сгорая от любопытства, он заглянул внутрь и нашел кроме пыли пожелтевшие бумаги и толстую тетрадь в переплете, а еще несколько кусочков истлевшей ткани, в которую они, видимо, были когда-то завернуты. Сдув пыль и обтерев грязь, Вард взглянул на надпись и сразу же узнал почерк, который в первый раз увидел в институте Эссекса: «Журнал и заметки Джоз. Карвена, джентльмена, родом из Салема и проживающего в городе Провиденс».

Безмерно взволнованный своей находкой, Вард показал тетрадь рабочим, которые были с ним. Они клятвенно подтвердили подлинность найденных бумаг, и доктор Виллетт опирается на их свидетельство, выстраивая свою теорию, говорящую о том, что юноша не был сумасшедшим, когда проявились первые странности в его поведении. Все бумаги были исписаны рукой Карвена, и на одной из них, вероятно самой важной, Вард прочитал: «Тому, кто придет потом; как ему одолеть время и пространство». Другая оказалась зашифрованной, однако Вард не стал расстраиваться, предположив, что шифр тот же, что в рукописи Хатчинсона, который до тех пор ему не поддавался. Зато на третьем листе он нашел ключ к шифру. Четвертый и пятый лист были адресованы «Эдв. Хатчинсону, эсквайру, и Иедеии Орну, эсквайру, либо их наследнику или наследникам, либо лицам, их представляющим». Шестой – последний – лист был озаглавлен: «Джозеф Карвен, его жизнь и путешествия между годами 1678 и 1687, где он бывал, кого видел и что узнал».

3

Мы как раз подошли к тому времени, которое более ортодоксальные психиатры считают началом психического заболевания Чарльза Варда. Обнаружив бумаги и тетрадь, мальчик тотчас же заглянул в них и нашел нечто, поразившее его до глубины души. Показывая заглавия рабочим, он принял все меры предосторожности, чтобы они не прочитали больше, и беспокоился об этом гораздо сильнее, чем предполагало историческое значение находки. Возвратившись домой, он смущенно сообщил новость родителям, словно ему хотелось внушить им, как важны попавшие ему в руки бумаги, но так, чтобы они поверили ему на слово. Он даже не показал им заголовки, а только сказал о документах, написанных рукой Джозефа Карвена, «в основном зашифрованных», которые требуют тщательного изучения для понимания их истинного смысла. Похоже, он и рабочим ничего не показал бы, если бы они не загорелись любопытством. Скорее всего, ему не хотелось демонстрировать нарочитую скрытность, чтобы не возбуждать лишнего интереса.

Всю ночь Чарльз Вард в своей комнате читал найденные бумаги и не оторвался от них, даже когда наступило утро. Его еда, по его настоятельной просьбе, после того как мать послала узнать, почему он не спускается к завтраку, была послана ему наверх, и он появился лишь на несколько минут, когда пришли рабочие устанавливать камин в его кабинете и вешать деревянную панель с портретом. Следующую ночь он спал урывками, не раздеваясь, и лихорадочно расшифровывал рукопись. Утром его мать обратила внимание, что он занимается фотокопией трактата Хатчинсона, который раньше часто ей показывал, но в ответ на ее расспросы он сказал, что ключ Карвена к нему не подходит. Днем, оторвавшись от бумаг, он нетерпеливо следил за тем, как рабочие крепили панель над великолепным электрическим камином, выдвигая чуть вперед стену над ним, словно в ней в самом деле есть дымоход, и закрывая ее другими панелями под стать остальным в комнате. Передняя панель с портретом была установлена на петлях и стала заодно дверью устроенного за ней шкафа. Когда рабочие ушли, он перешел в кабинет и то смотрел в разложенные перед ним бумаги, то на портрет, словно видел перед собой историческое зеркало.

Припоминая его поведение в это время, родители Чарльза Варда говорили о том, как в нем проявлялась отсутствовавшая раньше скрытность. От слуг он редко прятал бумаги, которыми занимался, так как совершенно справедливо полагал, что они все равно не разберут причудливый несовременный почерк Джозефа Карвена. А вот с родителями он вел себя осторожнее. Если изучаемая им страница не представляла собой сплошной шифр, россыпь загадочных знаков или непонятных идеограмм (как, например: «Тому, кто придет потом...»), то он закрывал ее ничего не значащей писаниной, пока посетитель не покидал его комнату. На ночь он запирали бумаги на ключ в старинный ларец и так же поступал, уходя из комнаты. Вскоре его жизнь вошла в привычную колею, разве что он прекратил свои долгие скитания по городу и теперь почти постоянно находился дома.

Начались занятия в школе, в которой он учился в последнем классе, и это, по-видимому, ужасно ему досаждало, отчего он постоянно повторял, как ему не хочется тратить время на колледж. Он говорил, что проводит собственные важные исследования, благодаря которым получит куда больше доступа к любым знаниям, чем в каком бы то ни было университете.

Естественно, только человек, уже имеющий репутацию кабинетного червя со странностями, мог бы долго вести такой образ жизни, не привлекая к себе особого внимания. Вард же всегда этим отличался, и его родители не столько удивились, сколько огорчились его скрытностью. Но и они сочли довольно странным то, что он ничего им не показывает из своих сокровищ и не рассказывает о расшифрованных документах. Однако Чарльз просил их подождать, пока у него будет что-то стоящее внимания, но шли недели, и в отношениях между мальчиком и

старшими стала нарастать напряженность, тем более что его мать постоянно выражала недовольство его интересом к Джозефу Карвену.

В октябре Вард снова зачастил в библиотеки, однако теперь его не интересовала старина. Колдовство и магия, оккультизм и демонология стали предметом его изучения, а когда хранилища Провиденса иссякли, он отправился в Бостон, в библиотеку на Копли-сквер, прославившуюся своими богатыми фондами, в библиотеку Уайденера в Гарварде и Сионистскую научную библиотеку в Бруклине, где можно было отыскать самые редкие книги по библейской тематике. Он и сам накупил множество книг и даже заказал стеллаж для них в свой кабинет, а на рождественские каникулы совершил несколько поездок, в том числе в Салем, чтобы посмотреть рукописные материалы в институте Эссекса.

Примерно в середине января 1920 года на лице Варда появилось выражение победителя, которое он никак не объяснял. За работой над рукописью Хатчинсона его больше не видели. Вместо этого он взялся за химические опыты, приспособив для них неиспользуемый чердак, и изучение статистических данных в городских архивах Провиденса. Опрошенные впоследствии местные поставщики лекарств и химических веществ для научных лабораторий представили на редкость бессмысленный список того, что заказывал Вард, зато в архивах и библиотеках пришли к единому мнению насчет интересовавших Варда материалов. Он лихорадочно искал могилу Джозефа Карвена, с надгробия которой когда-то предусмотрительно стерли его имя.

Понемногу родителям Варда стало ясно, что с их сыном творится неладное. Чарльз и прежде самозабвенно предавался своим увлечениям, но такая таинственность и поглощенность странными поисками были ненормальными даже для него. Школьные занятия его совсем не интересовали, и хотя все экзамены он сдавал благополучно, было совершенно очевидно, что от былого усердия не осталось и следа. Совсем другое занимало его мысли. Если он не работал в своей новой лаборатории, обложенный со всех сторон алхимическими трактатами, то штудировал погребальные книги или изучал оккультные науки в кабинете, где с панели над камином на северной стене бесстрастно взирал на своего потомка поразительно – и все больше – походивший на него Джозеф Карвен.

В конце марта Вард прибавил к своим занятиям в архиве малопривлекательные поездки на старые городские кладбища. Зачем это было ему надо, стало ясно позже, когда в городском архиве сообщили, что он как будто нашел ключ к разгадке. Он резко изменил направление поиска, и теперь ему требовалась могила некоего Нафтали Филда, а не Джозефа Карвена, и эту перемену удалось объяснить, когда по его стопам была отыскана оборванная на середине запись о захоронении необычного гроба Карвена, чудом избежавшая уничтожения: «10 фут. южнее и 5 фут. западнее могилы Нафтали Филда на _____». Отсутствие в уцелевшей половине указания на кладбище осложнило поиск, и могила Нафтали Филда долгое время казалась такой же ирреальной, как могила самого Джозефа Карвена, однако в отношении Нафтали Филда не существовало всеобщего заговора молчания и можно было надеяться рано или поздно отыскать надгробный камень, даже если не повезет в архиве. Вот Чарльз и ходил по всем кладбищам, начиная с церкви Святого Иоанна (бывшей Королевской) до старинных захоронений конгрегационалистов посреди кладбища в Свон-Пойнте, так как он уже нашел запись о том, что единственный живший в Провиденсе Нафтали Филд (умерший в 1729 году) был баптистом.

4

Ближе к маю доктор Виллетт, по просьбе отца Варда ознакомившись со всеми сведениями о Джозефе Карвене, которые Чарльз сообщил родителям, взялся поговорить с юношей. Толку от этого не было почти никакого, ибо Виллетт все время чувствовал, что Чарльз прекрасно владеет собой и занят действительно важными делами, но по крайней мере он дал раци-

ональное объяснение своему поведению в последнее время. Довольно сухой и бесстрастный по своему типу человек, которого нелегко чем-либо вывести из равновесия, Чарльз с готовностью рассказал о своих поисках, но умолчал об их цели. Он заявил, что бумаги его предка содержат потрясающие тайны, неизвестные тогдашней науке, и хотя большей частью они зашифрованы, все равно по своему значению сравнимы лишь с открытиями монаха Бэкона и даже превосходят их. Однако они совершенно бессмысленны, если существуют в отрыве от пока недоступных Чарльзу знаний, так что открывать их миру, вооруженному лишь современной наукой, значит лишить их привлекательности. Чтобы занять достойное место в истории человеческой мысли, они должны быть соотнесены со своим временем и окружением, чем, собственно, Вард как раз и занимается. Он старается как можно быстрее восстановить для себя забытые старые искусства, с помощью которых сможет правильно интерпретировать сведения, полученные им о Карвене, и тогда обо всем подробно расскажет всему миру. Даже Эйнштейн, заявил Чарльз, не сумел так революционизировать современную концепцию мироздания.

Что же до кладбищенских прогулок, цель которых Чарльз немедленно подтвердил, не вдаваясь в подробности, то он сказал, будто у него имеются основания предполагать наличие неких мистических символов, выгравированных на надгробии, согласно завещанию Джозефа Карвена, и не стертых вместе с его именем благодаря невежеству горожан, а они совершенно необходимы для окончательной разгадки его шифровальной системы. Карвен, по его мнению, хотел сохранить тайну и поэтому разбросал свои данные в самом причудливом порядке.

Когда доктор Виллетт попросил показать ему загадочные документы, Вард проявил большое недовольство и постарался отделаться от доктора, подсунув ему фотокопию рукописи Хатчинсона, формулу Орна и диаграммы, но в конце концов все-таки уступил и показал кое-что – «Журнал и записки», шифрованное (заглавие тоже шифрованное) послание с формулами «Тому, кто придет потом...», позволив взглянуть на непонятные письмена.

Еще он тщательно выбрал в дневнике самую невинную страницу, и доктор Виллетт познакомился с почерком Карвена, отметив про себя, что и почерк и стиль принадлежат семнадцатому столетию, хотя автор прожил довольно долго в восемнадцатом веке, и удостоверившись в подлинности документа. Текст показался ему незначительным, и позднее он вспомнил только кусочек из него:

«Среда, 16 окт. 1754. Сегодня мой шлюп покинул Лондон, имея на борту новых двадцать человек из Вест-Индии, испанцев с Мартиники и голландцев с Суринама. Похоже, голландцы что-то прослышали и готовы сбежать, но я пригляжу за ними. Для мистера Найта Декстера в Массачусетсе 120 штук камлота, 100 штук цветного тонкого камлота, 20 штук синей фланели, 100 штук саржи „шаллун“, 50 штук каламянки, по 300 штук чесучи и легкого шелка. Для мистера Грина из „Слона“ 50 галлонов сидра, 20 больших кастрюль, 15 котлов, 10 связок копченых языков. Для мистера Перриго 1 набор столярных инструментов. Для мистера Найтингейла 50 стоп лучшей писчей бумаги. Ночью трижды сказал САВАОФ, но никто не явился. Надо лучше расспросить мистера Х. в Трансильвании, хотя очень трудно до него добраться, но странно, что он не может научить меня тому, чем сам владеет уже сто лет. Саймон не пишет несколько недель, но скоро, верно, будет письмо».

Едва доктор Виллетт дочитал эту страницу и перевернул ее, как Вард едва не вырвал тетрадь у него из рук, так что на другой странице доктор увидел всего пару фраз, однако, как ни странно, они крепко врезались ему в память: «Стих из Проклятой Книги говорит пять Страстных пятниц и четыре Дня Всех Святых, и тогда, будем надеяться, нечто родится Вне Сфер. Я призову Того, кто должен Прийти, если буду уверен, что он будет и будет думать о

Прошлом и смотреть сквозь годы, и для него я должен приготовить Соли либо То, из чего готовить их».

Больше Виллетт ничего не успел прочитать, однако и этого было довольно, чтобы нарисованное лицо Джозефа Карвена, бесстрастно взиравшего на них с портрета, вселило в него неясный страх. С тех пор у него появилась странная фантазия – по крайней мере, его медицинское образование убедило его в том, что это фантазия, – будто глаза на портрете хотели бы следить, если на самом деле не следили, за юным Вардом, когда он отправлялся ходить по комнате.

Перед уходом доктор Виллетт еще раз близко подошел к портрету, вновь удивляясь поразительному сходству его с Чарльзом и запоминая каждую черточку бледного загадочного лица вплоть до крошечного шрама на гладком лбу над правым глазом. Доктор Виллетт решил, что Космо Алекзэндер был художником, достойным Шотландии, которая дала миру Реборна, и не хуже своего знаменитого ученика Джилберта Стюарта.

Успокоенные доктором насчет того, что душевное здоровье их сына вне опасности и он занят исследованиями, которые и вправду могут оказаться очень важными, Варды довольно спокойно отнеслись к тому, что Чарльз отказался от колледжа. Он заявил, что у него дела посерьезнее, и выразил желание поехать на следующий год за границу, чтобы получить сведения, которых он не может добыть в Америке. Старший Вард отклонил столь нелепое для восемнадцатилетнего мальчишки требование, но сдался перед его упорным нежеланием учиться в университете, так что после неблестящего окончания школы Мозеса Брауна три года Чарльз упорно занимался оккультизмом и обследованием кладбищ.

Он уже заимел репутацию молодого человека со странностями и еще упорнее избегал встреч с друзьями его семьи, чем раньше, много времени посвящая своей работе, которую прерывал только ради поездок в другие города, где он мог найти интересовавшие его сведения. Однажды он отправился на юг, чтобы поговорить со старым мулатом, который жил на болоте и о котором в газете была напечатана любопытная заметка. Он посетил деревушку в Адирондаксе, где еще хранили верность старым и непонятым обрядам, однако в Старый Свет, куда он рвался всей душой, родители его не отпускали.

В апреле 1923 года Чарльз Вард стал совершеннолетним, а до этого он получил небольшое наследство от дедушки с материнской стороны, так что решил наконец совершить до тех пор невозможное путешествие по Европе. О своем предполагаемом маршруте он не сказал почти ничего, разве что его занятия требуют посещения разных мест, но обещал обо всем писать своим родителям. Когда они поняли, что отговорить его не удастся, то перестали ему препятствовать и даже оказали существенную поддержку.

Итак, в июне молодой человек отплыл в Ливерпуль, получив прощальное благословение отца и матери, которые проводили его до Бостона и долго махали ему с набережной Белая Звезда в Чарлстауне. Письма вскоре подтвердили, что он без всяких неприятностей добрался до Лондона и поселился в хорошей квартире на Грейт-Расселл-стрит, где собирался жить долго, но избегать встреч с друзьями семьи, пока не изучит все интересующие его фонды Британского музея. О своей будничной жизни он почти не писал, да и писать-то, в общем, было нечего. Все его время занимали занятия в библиотеке и опыты, и он упомянул о лаборатории, которую устроил в одной из комнат. О скитаниях среди древностей великого старого города с его старинными соборами и путаницей улиц и переулков, которые то таинственно кружат на одном месте, а то неожиданно выводят на удивительный простор, Чарльз Вард ничего не писал, и родители сочли это добрым знаком, предположив, что он полностью поглощен своими новыми занятиями. В июне 1924 года коротеньким письмом он сообщил о своем отъезде в Париж, куда уже совершил две короткие поездки ради Национальной библиотеки. Следующие три месяца он посылал лишь открытки, поселившись на улице Святого Иоанна и сообщая о каких-то особых поисках в редких рукописях неизвестного частного владельца. Знакомств

Чарльз избегал, и никто из туристов не привозил о нем весточки. Потом он перестал писать. А в октябре Варды получили открытку с видом Праги, из которой следовало, что Чарльз уже в этом старинном городе ради одного очень старого человека, который является последним живым носителем загадочной средневековой информации. Он послал свой адрес в Нойштадте, где собирался пробыть до следующего января, а потом отправил несколько открыток из Вены, в которых сообщил, что едет немного восточнее, куда его пригласил один из его корреспондентов и коллег по оккультизму.

Следующая открытка пришла из Клаузенбурга в Трансильвании, и в ней Чарльз писал, что близок к цели. Он собирался посетить барона Ференци, чье поместье располагалось в горах восточнее Рагузы, и просил писать ему туда на имя благородного господина. Через неделю пришла еще одна открытка из Рагузы, сообщавшая, что его ждет экипаж, присланный за ним из горной деревни, и после этого Чарльз Вард долго не давал о себе знать.

До мая он не отвечал на частые послания своих родителей и только тогда сообщил, что летом не сможет встретиться с матерью ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Риме, так как его родители тоже собрались в путешествие. Он писал, что его изыскания требуют его постоянного присутствия, а замок барона Ференци не приспособлен для приема гостей. Он находится на крутом склоне в заросших лесом горах, и даже местные жители обходят эти места стороной, так что нормальным людям здесь трудно чувствовать себя комфортно. Да и барон не такой человек, чтобы понравиться добропорядочным путешественникам из Новой Англии. Его внешность и поведение не совсем обычные, да и возраст способен внушить некоторые опасения. Чарльз писал, что родителям лучше оставаться в Провиденсе и там ждать его возвращения, которое уже совсем близко.

Однако Чарльз Вард возвратился лишь в мае 1925 года. Заранее предупредив родителей несколькими открытками, юный путешественник без приключений добрался до Нью-Йорка на корабле «Гомерический», долгий путь от Нью-Йорка до Провиденса проделал на поезде, с жадностью впитывая запахи и краски зеленых холмов, цветущих садов и белых городов весеннего Коннектикута – вновь почти после четырехлетнего перерыва пробуя на вкус старую Новую Англию. Когда он пересек Покатук и оказался в Род-Айленде, сверкающем позолотой весеннего солнечного дня, сердце у него забилося учащенно, а въезд в Провиденс по Резервуар-авеню и Элмвуд-авеню был таким чудесным, что у Чарльза перехватило дыхание, несмотря на мистические бездны, в которых он пребывал в последнее время. С площади, где сходятся Бруд-стрит, Уэйбоссет-стрит и Эмпайр-стрит, в огне заходящего солнца ему открылся вид на милые знакомые дома и купола и шпили старого города, и он странно дернул головой, когда поезд повез его дальше на вокзал за Билтмор, открывая его взгляду огромный купол и нежную зелень древнего холма, утыканного домами с высокими крышами, и шпиль колониальных времен Первой баптистской церкви, розовеющей в сказочном вечернем свете на фоне свежей весенней листвы.

Старый Провиденс! Это место и таинственные силы его долгой истории подарили ему жизнь и призвали его обратно к чудесам, границы которых не ведомы никакому пророку. В этом городе его ждали прекрасные или ужасные тайны, к открытию которых он готовился долгие годы путешествий и упорной работы. Такси привезло его на Почтовую площадь, с которой видны река, и старый крытый рынок, и кусочек бухты, потом оно поехало вверх по крутой Уотермен-стрит, откуда были видны большой сверкающий купол и освещенные заходящим солнцем ионические колонны церкви Крисчн-Сайенс, мимо великолепных старых особняков, с детства знакомых его глазам, и кирпичных тротуаров, по которым он часто ходил в юности.

Наконец белая ферма осталась справа, а слева показался старый портик и солидный кирпичный фасад дома, в котором он родился. В сумерках Чарльз Вард переступил порог родного дома.

5

Психиатры чуть менее ортодоксальные, чем доктор Лиман, приписывают начало душевного нездоровья Чарльза Варда его путешествию в Европу. Соглашаясь с тем, что он был в здравом уме, когда уезжал из Америки, они утверждают, что его поведение кардинальным образом изменилось после его возвращения. Однако доктор Виллетт с ними не согласен. Он настаивает на том, что все началось позже, и странности молодого человека на этой стадии приписывает ритуалам, которые он узнал за границей, очень странным ритуалам, это правда, но никоим образом не вызывающим психических отклонений в отправляющем их человеке.

Повзрослевший и возмужавший Вард сохранил совершенно нормальные реакции и в нескольких беседах с доктором Виллеттом выказал уравновешенность, на какую ни один безумец – даже скрывающий свое безумие – не способен. Слухи о безумии, возникшие в это время, были спровоцированы *звуками*, которые в любое время суток доносились из чердачной лаборатории, где Вард проводил почти все время. Люди слышали распевы, заклинания, громовые декламации в самых необычных ритмах, и хотя звучал всегда голос самого Варда, что-то в нем появлялось такое, от чего у случайных слушателей кровь стыла в жилах. Ни от кого не укрылось, что Ниг, любимый черный кот Вардов, шипел и выгибал спину, едва первые звуки доносились сверху.

Запахи, которые время от времени вырывались из лаборатории, тоже были на редкость странными, иногда неприятными, но чаще легкими, почти неуловимыми, внушавшими фантастические образы. Вдохнувшие их люди обыкновенно видели, сколько хватало глаз, причудливые холмы или бесчисленные сфинксов и гиппогрифов, которые терялись вдаль.

Вард не возобновил своих прежних скитаний по городу и с головой ушел в изучение странных книг, которые он привез с собой. Он сразу же стал ставить не менее странные опыты, сказав, что путешествие по Европе во много раз расширило его возможности и вскоре он сделает великое открытие. Повзрослевший юноша стал еще больше походить на портрет Карвена в его кабинете, и доктор Виллетт частенько останавливался возле камина, когда приходил в дом, каждый раз заново поражаясь неправдоподобному сходству и отмечая, что только шрам над правым глазом отличает мертвого колдуна от его живого потомка.

Доктор Виллетт приходил по просьбе родителей Чарльза Варда, и его беседы с Чарльзом были весьма любопытны. Тот никогда не отказывался поговорить с доктором, однако нельзя было не понять, что душа младшего Варда для всех закрыта. Часто доктор замечал в его комнате странные вещи – маленькие восковые и несколько утрированные изображения на полках и на столе, полустертые круги, треугольники и пентаграммы, нарисованные мелом или углем на полу посреди комнаты. И каждую ночь уже чуть ли не по всему дому разносились песнопения и заклинания, так что Вардам стало трудно удерживать у себя прислугу и пресекать разговоры о безумии их сына.

В январе 1927 года произошло нечто странное. Как-то в полночь, когда Чарльз, по своему обыкновению, громко распевал у себя, со стороны бухты налетел ледяной ветер, и земля слабо закачалась под ногами. Не было ни одного человека по соседству, который бы этого не заметил. Кот выказал невиданный прежде страх, и все собаки, не меньше чем на милю кругом, разом залаяли. Это было прелюдией к страшной грозе, совершенно небывалому явлению в это время года, да еще такой грозе, что мистер и миссис Вард испугались, как бы дом не сгорел.

Они побежали наверх посмотреть на возможные повреждения, но у двери на чердак их встретил Чарльз – бледный, спокойный и решительный, с почти пугающим выражением триумфа и важности на лице. Он уверил, что с домом ничего не случилось, а буря скоро закончится. Немного постояв в нерешительности, они увидели в окно, что Чарльз прав, так как молния вспыхивала все дальше и дальше от их дома, и деревья перестали гнуться до земли под

ветром и дождем. Гром постепенно стих, слышался уже только глухой рокот, потом и его не стало. Вновь выглянули звезды, и ликование на лице Чарльза Варда сменилось весьма необычным выражением.

Месяца два после этого Вард гораздо меньше времени проводил в своей лаборатории, выказав странный интерес к погоде и сделав странные запросы насчет весеннего таяния снега. Как-то в марте он около полуночи вышел из дома и вернулся только под утро, по крайней мере его мать услышала шум мотора, затихший возле их двери. До нее донеслись приглушенные ругательства, и она подошла к окну. Четыре человека в темном вытащили из машины длинный ящик и по указанию Чарльза понесли его к боковой двери. Она слышала тяжелое дыхание и топот ног, потом глухой стук на чердаке, после чего мужчины спустились по лестнице, вновь появились на улице и уехали на своем грузовике.

На другой день Чарльз вновь заперся в своей лаборатории и, задернув шторы, стал работать с каким-то металлом. Дверь он никому не открывал и упорно отказывался от еды. Около полудня послышался как будто шум борьбы, потом страшный крик и грохот, словно что-то упало, но когда миссис Вард постучала в дверь, ее сын слабым голосом сказал, что ничего не случилось. Еще он сказал, что отвратительная и ни на что не похожая вонь, выползавшая из-под двери, совершенно безвредна и придется ее потерпеть. Короче говоря, он отказался выйти, но обещал обедать вместе со всеми. И он появился ближе к вечеру, когда перестало слышаться странное шипение с чердака, появился как будто сильно постаревший и осунувшийся, запретив кому бы то ни было подходить к двери лаборатории. Это стало началом нового периода тайн, потому что с того дня никому не разрешалось входить в его загадочную лабораторию и примыкавший к ней «склад», которые он сам мыл, сам чистил и сам расширил, прибавив к уже имеющимся помещениям спальню. Чарльз переселился на чердак, забрав туда из библиотеки все нужные ему книги, пока он не купил бунгало в Потюксете и не перебрался туда со всем оборудованием для опытов.

Вечером Чарльз первым взял газету и, верно, случайно оторвал от нее кусок. Позднее доктор Виллетт установил, в какой день это случилось, опросив членов семьи и прислугу, отыскал в редакции «Джорнал» экземпляр и восстановил утраченную заметку.

«На Северном кладбище орудуют похитители трупов.

Сегодня утром Роберт Харт, ночной сторож на Северном кладбище, наткнулся среди самых старых захоронений на группу мужчин, у которых был грузовик, и, по-видимому, спугнул их прежде, чем они успели сделать свое дело.

Это случилось в четыре часа утра. Внимание Харта привлек шум мотора, и он, отправившись посмотреть, что происходит, увидел метрах в ста большой грузовик на главной аллее, но не смог приблизиться к нему, так как топотом выдал свое присутствие. Мужчины торопливо засунули ящик в грузовик и быстро уехали. Поскольку ни одна могила не была потревожена, Харт решил, что они хотели закопать ящик.

Вероятно, копатели долго работали, прежде чем их обнаружили, потому что Харт увидел глубокую яму немного в стороне, в том месте, которое называется Амоса-филд и с которого давно уже исчезли многие надгробные камни. Яма оказалась широкой и глубокой, как могила, и пустой. Судя по кладбищенским регистрационным книгам, в ней не было захоронения.

Сержант Райли осмотрел яму и высказал предположение, что ее вырыли бутлегеры, которые постоянно ищут место, где можно надежно спрятать крепкие напитки. Отвечая на вопросы, Харт упомянул, что грузовик как будто поехал в сторону Рошамбо-авеню, но утверждать это он не мог».

В течение нескольких дней домашние почти не видели Чарльза. Устроив себе на чердаке спальню, он вовсе не показывался на глаза, так как по его приказу еду ему приносили наверх и он забирал ее после ухода служанки. Непонятные заклинания и немелодичные песнопения время от времени возобновлялись, а между ними можно было слышать звяканье стекла, шипение реактивов, шум воды, рев газовой горелки. Из-под двери часто просачивались неведомые запахи, ничего общего не имевшие с теми, что бывали раньше. Растерянность же молодого человека, стоило ему хотя бы ненадолго покинуть свое убежище, была такого рода, что могла пробудить самые невероятные подозрения. Однажды он чуть ли не бегом отправился в «Атенеум» за нужной ему книгой, а в другой раз нанял кого-то, чтобы ему привезли в высшей степени загадочную книгу из Бостона. Родители Варда не могли избавиться от тревожного ожидания, но и они, и доктор Виллетт признавались себе в своей полной беспомощности.

6

Пятнадцатого апреля произошло нечто важное. Хотя, в общем-то, качественно все оставалось по-прежнему, но количественно это было не так, и доктор Виллетт считает это важным. Дело было в Страстную пятницу, кое обстоятельство прислуга сочла едва ли не основополагающим, а остальные восприняли как простое совпадение. К вечеру молодой Вард принялся необычно громко повторять одно и то же заклинание, одновременно что-то сжигая, отчего запах распространился по всему дому.

Заклинание было так хорошо слышно в коридоре, несмотря на запертую дверь, что миссис Вард, притаившаяся там в беспокойном ожидании, невольно его запомнила, а потом записала по просьбе доктора Виллетта. Впоследствии доктор Виллетт узнал, что это заклинание почти в точности совпадает с найденным в мистических писаниях Элифаса Леви, этого таинственного человека, который первым ткнулся в запретную дверь и видел пугающие запредельные дали. Вард произносил его на латыни:

Заклинаю Адонаи Элоимом, Адонаи Иеговой,
Адонаи Саваофом, Метратоном Оу Агла Метоном,
Словом питона, тайной саламандр,
Духом сильфа, телом гнома,
Демонов Божеством, Альмонсином, Гибором,
Иехошуа, Эвамом, Зариатнатмиком,
Приди, приди, приди!

Это продолжалось без перерыва часа два, и все время заходились в лае собаки. Собаки лаяли не только по соседству, о чем можно судить по газетам, вышедшим на другой день, но и в доме Вардов. На них не обратили внимания из-за просочившегося во все комнаты непонятного и зловещего запаха, какого они до этого ни разу не слышали и с тех пор не слышали тоже. Неожиданно вспыхнула как будто молния, которая была очень яркой, даже ослепительной, если бы она случилась не днем, а потом раздался *голос*, который напомнил о дальнем раскате грома и который никто из слышавших его не забыл, потому что он был низким, зловещим и совсем не похожим на голос Чарльза Варда. Он сотряс дом, и по крайней мере двое соседей ясно слышали его, несмотря на лай собак.

Миссис Вард, в отчаянии не покидавшая чердак, задрожала, узнав его дьявольское происхождение, ибо Чарльз рассказывал ей, как писали о нем старые книги и как он гремел, судя по письмам Феннера, над фермой в Потюксете в ту ночь, когда исчез Джозеф Карвен. Она не могла ошибиться, так как Чарльз когда-то, когда они еще много разговаривали о Карвене,

очень живо все ей описал и она запомнила часть давнего и непонятного заклинания: «ДИЕС МИЕС ДЖЕХЕТ БЕНЕ ДОСЕФ ДУВЕМА ЭНИТЕМАУС».

Сразу после этого ненадолго потемнело вокруг, словно вдруг наступил вечер, потом появился новый сильный запах, совершенно незнакомый и столь же невыносимый, как прежний. Чарльз продолжал произносить заклинание, и его мать слышала нечто, звучащее как: «Йи-наш-Йог-Сотот-хе-лгб-фи-тродаг», – и заканчивавшееся фанатичным воплем «Йах!». Потом до миссис Вард донесся дьявольский истерический хохот.

Преодолевая страх, миссис Вард, движимая материнским отчаянием, постучала в дверь, но ей никто не ответил. Тогда она постучала еще раз, но тотчас затаилась, едва кто-то закричал опять. Она безошибочно узнала голос своего сына, *который звучал одновременно с продолжавшимся хохотом другого голоса*. Тут она лишилась чувств, хотя потом никак не могла вспомнить непосредственную причину своего беспамятства. Память милосердно изменила ей.

Мистер Вард возвратился домой в четверть седьмого и, не найдя жену в нижних комнатах, узнал от слуг, что она, вероятно, стоит возле двери в лабораторию Чарльза, откуда доносятся еще более странные, чем обычно, звуки. Поспешив наверх, мистер Вард обнаружил свою жену лежащей без сознания и бросился налить воды из ближайшего крана. Она тотчас пришла в себя и все вспомнила, и тут мистер Вард, не сводивший с нее глаз, тоже почувствовал странный озноб и едва не упал с ней рядом. Затихшая лаборатория совсем не была тихой, ибо из нее доносилась приглушенная беседа, внушавшая непонятный ужас, но слишком тихая, чтобы разобрать отдельные слова.

Чарльз и раньше произносил заклинания, однако теперешнее бормотание совсем не походило на прежние. Это был тихий диалог или имитация диалога с вопросами и ответами, утверждениями и возражениями. Один голос, несомненно, принадлежал Чарльзу, но другой был таким низким и глухим, какого молодой человек даже при всем своем желании не смог бы изобразить. Он производил пугающее, дьявольское, ненормальное впечатление, и если бы не крик жены, вряд ли Теодор Хоуленд Вард мог бы и дальше хвалиться тем, что никогда в жизни не лишался чувств.

Как бы то ни было, он схватил жену и помчался вниз прежде, чем она обратила внимание на испугавшие его голоса. Однако, как он ни торопился, все же до его ушей донеслось нечто такое, от чего он едва не потерял равновесие. Крик миссис Вард был услышан за запертой дверью, и в ответ на него были произнесены слова, которые он наконец-то разобрал. Они были произнесены взволнованным Чарльзом, однако отец уловил в них страх оттого, что он может услышать, о чем говорят в лаборатории. А и сказано-то всего было:

– Ш-ш-ш-ш! Пиши!

После обеда мистер и миссис Вард долго обсуждали происшедшее, и мистер Вард решил немедленно и серьезно поговорить с сыном. Как бы Чарльз ни дорожил своими занятиями, такое поведение больше нельзя было допускать, ибо последние события перешли грань разумного и стали угрозой для порядка и душевного спокойствия всех, кто жил в доме. Молодой человек, видно, совсем потерял рассудок, ибо только безумец способен на подобные дикие крики и воображаемые разговоры разными голосами, какие случились в этот день. Все это следовало немедленно прекратить, чтобы не заболела миссис Вард и не разбежались слуги.

Мистер Вард встал из-за стола и отправился на чердак в лабораторию Чарльза. На третьем этаже он помедлил, услышав шум в заброшенной библиотеке сына, словно кто-то в спешке раскидывал там книги. Открыв дверь, он увидел, как Чарльз собирает в охапку книги и бумаги самого разного вида и формата. Мальчик очень похудел и выглядел усталым. Услышав голос отца, он все уронил на пол, словно его застали за недозволенным занятием, и послушно сел. Довольно продолжительное время он безмолвно внимал заслуженным упрекам. Скандала не было. Когда отец замолчал, Чарльз сказал, что полностью с ним согласен и, конечно же, голоса, заклинания, запахи – совершенно непростительные его упущения. Он обещал вести себя тише,

хотя твердо стоял на своем уединении. Однако он заметил, что большая часть его будущей работы связана с чтением книг, ну а для шумных песнопений, если они ему потребуются в будущем, он снимет где-нибудь дом.

В отношении испуга и обморока матери он выразил живейшее сожаление и объяснил, что беседа, которую она слышала, была частью сложного символического действия ради создания определенной духовной атмосферы. Из-за непонятной химической терминологии мистер Вард несколько растерялся, однако у него исчезли все сомнения по поводу душевного нездоровья его сына, несмотря на его напряженное состояние и необычную мрачность. Разговор, в сущности, закончился ничем. Чарльз собрал свои книги и бумаги и пошел наверх, а мистер Вард остался думать, что ему делать дальше. Он ничего не понял насчет занятий Чарльза, как не понял, отчего умер старый бедный Ниг, которого с выпученными глазами и открытым ртом нашли за час до этого в подвале.

Ведомый сыщицким инстинктом, несчастный родитель с любопытством оглядел опустошенные полки, чтобы определить, какие книги Чарльз забрал с собой. С детских лет Чарльз содержал свою библиотеку в строгом порядке, так что не составило особого труда узнать, чего не хватает. Мистер Вард удивился, обнаружив, что книги по оккультизму и древней истории остались на месте, зато исчезли книги, содержавшие современные знания по истории, разным наукам, географии, философии, а также современная художественная литература, некоторые газеты и журналы.

Это был неожиданный поворот в чтении Чарльза Варда, и его отец долго стоял в раздумье о странной метаморфозе. В комнате было еще что-то очень странное, от чего у старшего Варда теснило грудь, и он огляделся, стремясь обнаружить неладное. Он чувствовал его в самой атмосфере комнаты. Едва он вошел сюда, как понял, что здесь чего-то не хватает, и в конце концов доискался до ответа.

На северной стене над камином все так же хороши были резные деревянные панели из дома на Олни-корт, однако тщательно отреставрированного портрета Карвена как не было. Жара и время не пощадили масляные краски, и во время последней уборки в комнате случилось непоправимое. Краска отстала от дерева и внезапно вся отвалилась. Портрет Джозефа Карвена навсегда перестал следить за юношей, на которого был неправдоподобно похож, и теперь лежал на полу кучкой мелкой голубовато-серой пыли.

IV. Мутация и безумие

1

В течение недели после печально знаменитой Страстной пятницы родные видели Чарльза Варда чаще обычного. Он все время ходил с книгами то в библиотеку, то в лабораторию. Держался он спокойно, вел себя разумно, однако у него появился странный взгляд, как у загнанного зверя, который совсем не нравился его матери, и еще более странный аппетит, судя по заказам кухарке.

Доктор Виллетт был обо всем поставлен в известность и во вторник имел долгий разговор с юношей в его библиотеке, где осыпавшийся портрет уже ни за кем не следил. Разговор, как всегда, оказался малорезультативным, однако Виллетт и теперь настаивал, что мальчик в своем уме. Тот обещал в скором будущем рассказать о своих открытиях и говорил о необходимости перевести лабораторию в какое-нибудь уединенное место. О потере портрета он не сожалел, как это ни странно, особенно если вспомнить его тогдашнее волнение, но даже находил нечто смешное в его неожиданном разрушении.

Пошла вторая неделя, и Чарльз стал надолго исчезать из дома, а когда добрая старая Ханна пришла помочь с весенней уборкой, она рассказала, что он довольно часто бывает на Олни-корт, приходит с большим портфелем и возится в подвале. Чарльз был щедр к ней и к Азе, однако выглядел более расстроенным, чем обычно, и это ее очень огорчало, ведь она знала его с пеленок.

Второе сообщение поступило из Потюксета, где друзья мистера Варда на удивление часто стали видеть его сына, правда, они с ним не разговаривали. Похоже было, что ему нравится в Род-он-Потюксет, и он сделался частым гостем на лодочной станции, а доктор Виллетт, съездив туда на разведку, выяснил, что Чарльз доплывает до излучины, а оттуда идет в северном направлении и возвращается обычно очень не скоро.

В мае он возобновил ритуальные песнопения на чердаке, чем его отец остался очень недоволен и вырвал у сына обещание больше этого не делать. Однажды утром повторилось нечто очень похожее на воображаемый разговор в Страстную пятницу. Чарльз то ли страстно спорил, то ли в чем-то горячо уговаривал самого себя, потому что сверху слышались возмущенные крики на разные голоса, похожие на требования и отказы, из-за которых миссис Вард немедленно отправилась к двери лаборатории. Она мало что разобрала и поняла только: «...три месяца нужна кровь...» После этого она не выдержала и постучала, но голоса тотчас стихли. Когда позднее отец призвал Чарльза к ответу, он сказал, что существуют определенные конфликты в сферах сознания, которых можно избежать, только овладев знаниями и опытом, однако он попытается перевести их в другие сферы.

В середине июня ночью опять произошло нечто странное. Едва наступил вечер, как из лаборатории донесся шум, и мистер Вард отправился туда, но шум неожиданно стих. В полночь, когда домочадцы уже спали, едва привратник запер входную дверь, как, судя по его словам, на лестнице показался, шатаясь, Чарльз, который держал в руке большой чемодан и делал ему знак, что хочет уйти.

Чарльз не произнес ни слова, однако почтенный йоркширец заглянул ему в глаза и содрогнулся, сам не зная почему. Он открыл дверь, Чарльз ушел, однако утром привратник высказал свое недовольство миссис Вард. Он заявил, что во взгляде Чарльза было что-то святотатственное, когда он смотрел на него, и молодые люди не должны так смотреть, поэтому он больше ни одной ночи не проведет под крышей этого дома. Миссис Вард отпустила его, не обратив, впрочем, внимания на его слова. Она даже представить не могла, что ее Чарльз

мог быть в каком-то особо диком состоянии, ведь она сама, пока не заснула, слышала наверху тихие звуки, словно Чарльз мерил шагами лабораторию и плакал, а его вздохи говорили лишь о бездне его отчаяния. Миссис Вард уже привыкла к шуму по ночам, ибо все ее мысли и чувства были поглощены тайной ее сына.

На другой вечер так же, как три месяца назад, Чарльз Вард первым завладел газетой и случайно потерял одну из страниц. Об этом вспомнили гораздо позже, когда доктор Виллетт начал сводить концы с концами и искать недостающие звенья цепи. В редакции «Джорнал» он нашел газету, из которой Чарльз утаил страницу, и отметил две статьи, возможно имевшие определенное значение.

«Опять гробокопатели.

Роберт Харт, ночной сторож на Северном кладбище, обнаружил сегодня утром, что копатели не прекратили своей чудовищной деятельности в старой части кладбища. Могила Эзры Уидена, который родился в 1740 году и умер в 1824 году, судя по его перевернутому и разбитому надгробию, была разрытой и пустой. По-видимому, воры орудовали лопатой, украденной из соседней сторожки.

Что бы ни оставалось в могиле после прошедших полутора столетий, исчезло все, кроме пары полусгнивших досок. Следов грузовика полиция не обнаружила. Однако найдены следы мужчины, судя по обуви, принадлежащего к обеспеченному кругу.

Харт считает, что этот случай связан с другим, мартовским, когда он спугнул копателей, приехавших на грузовике и успевших вырыть глубокую яму. Однако сержант Райли опровергает это и указывает на явные различия в обоих инцидентах. В марте рыли там, где не было никакой могилы, а сегодняшние раскопки происходили на месте ухоженной могилы, следовательно, имели вполне определенную, хотя и непонятную цель, и к тому же злодейскую, ибо разбито надгробие, до сих пор бывшее в отличном состоянии.

Члены семейства Уиденов, извещенные о случившемся, выразили свое удивление и огорчение, но не могли назвать ни одного врага, который был бы способен надругаться над могилой их предка. Хазард Уиден, проживающий на Энджелл-стрит, 598, вспомнил семейное предание о том, что Эзра Уиден незадолго до Революции был вовлечен в некое предприятие, впрочем ничем не запятнавшее его честь. Однако никакие нынешние враги или тайны Уиденам не известны. Расследование поручено инспектору Каннингему, и будем надеяться, что в ближайшее время мы узнаем что-нибудь определенное.

В Потюксете лают собаки.

В три часа ночи жители Потюксета были разбужены небывалым лаем собак, которые сбежали к реке с северной стороны Род-он-Потюксет. Жители утверждают, что собаки лаяли очень странно, а Фред Лемдин, ночной сторож в Род, заявил, что он еще слышал крики человека, который будто бы агонизирует в смертельном ужасе. Сильная, но короткая гроза, разразившаяся неподалеку, положила конец непонятному происшествию, с которым также связывают ни на что не похожий, неприятный запах, возможно, из нефтяных хранилищ, расположенных вдоль берега бухты. Может быть, он напугал собак».

Чарльз выглядел как никогда растерянным, и позднее все пришли к выводу, что, вероятно, именно в это время его охватил настоящий ужас, и он готов был во всем признаться. Постоянно прислушивавшаяся ко всем ночным шорохам, миссис Вард узнала, что ее сын довольно часто покидает дом под покровом ночи, и ортодоксальные психиатры единодушно обвинили его в вампиризме, о котором пресса делала сенсационные материалы как раз в то время, но в котором не нашла кого обвинить. Жертвами этих преступлений, происшедших совсем недавно и слишком известных, чтобы о них рассказывать, стали и мужчины и женщины разного возраста, но волею судьбы оказавшиеся либо в жилом районе на вершине холма в Норт-Энд неподалеку от дома Варда, либо в пригороде возле Потюксета.

Нападению подвергались поздние прохожие или люди, привыкшие спать с открытыми окнами, и те из них, кто остался в живых, рассказывают о худом подвижном чудовище с горящими глазами, которое зубами впивалось в шею или в предплечье и жадно глотало кровь.

Доктор Виллетт, который отказался признать началом безумия Варда даже это время, очень осторожен в своих попытках объяснить этот кошмар. Он сказал лишь, что у него собственная теория на этот счет, и свое заявление ограничил довольно странными словами:

– Не буду строить предположения насчет того, что или кто совершил эти нападения и убийства, однако я утверждаю, что Чарльз Вард в них невиновен. У меня есть причины полагать, что он не знал вкуса крови, и это лучше всего доказывает его прогрессирующая анемия. Вспомните, каким он был бледным. Вард играл с очень опасными вещами, и он заплатил за это, но он не был ни чудовищем, ни преступником. Что же до теперешнего Варда, то мне не хочется об этом думать. В нем произошла перемена, и мне приятнее считать, что прежний Чарльз Вард умер. По крайней мере, умерла его душа, ибо у сумасшедшей плоти, сбежавшей из больницы, душа другая.

Виллетт знал, что говорит, ибо он часто бывал в доме Вардов, наблюдая миссис Вард, не выдержавшую нервного напряжения. Ее ночные бодрствования породили ужасные галлюцинации, в которых она не без колебаний призналась доктору, успокоившему ее, но глубоко задумавшемуся об их природе, когда он остался один. Ей постоянно казалось, что она слышит у себя над головой, причем в самое неподходящее время, приглушенные всхлипывания и вздохи. В начале июля Виллетт приказал миссис Вард ехать в Атлантик-Сити и постараться как следует отдохнуть, а мистеру Варду и исхудавшему, избегавшему его Чарльзу писать ей только веселые письма. Наверное, только благодаря своему отсутствию она сохранила жизнь и душевное здоровье.

2

Вскоре после отъезда матери Чарльз предпринял переговоры насчет покупки бунгало в Потюксете. Это был запущенный деревянный домишко с бетонным гаражом, который стоял на самом высоком месте крутого и почти не заселенного берега реки. По какой-то причине домишко настолько понравился Чарльзу, что он не желал ничего другого и не давал покоя агентам по продаже недвижимости до тех пор, пока один из них не уговорил сопротивлявшегося владельца, поманив его несообразно большими деньгами. Тотчас, едва сделка была совершена, Чарльз под прикрытием темноты перевез туда в большой закрытой машине всю свою лабораторию, а также старинные и современные книги, взятые им из библиотеки. Нагружал он машину в темноте, и его отец вспоминал потом, как сквозь сон слышал приглушенную ругань рабочих и топот ног на лестнице. После этого Чарльз возвратился в свои комнаты на третьем этаже и больше на чердаке не появлялся.

В бунгало в Потюксете Чарльз перевез все свои тайны, которые до этого оберегал на чердаке, правда, теперь он делил их с полукровкой-португальцем разбойничьего вида, которого привел к себе с набережной Саут-Мейн-стрит и который стал исполнять у него обязанности

слуги, и тощим незнакомцем, похожим на ученого, в черных очках и с окладистой, словно приклеенной бородой, явно занимавшим положение коллеги Чарльза. Тщетно пытались соседи разговорить этих странных людей. Мулат Гомес почти не понимал по-английски, да и бородатый мужчина, назвавшийся доктором Алленом, как будто следовал его примеру. Сам Вард старался быть более общительным, однако лишь спровоцировал любопытство своими несвязными рассказами о химических опытах. Прошло немного времени, и не гаснувшие всю ночь окна стали причиной распространившихся странных слухов, а чуть позже, когда в окнах исчез свет, люди стали поговаривать о непомерно большом заказе на мясо в лавке и о приглушенных криках, восклицаниях, пении, доносившихся из подвала.

Благопристойные буржуа крепко невзлюбили необычного соседа, и неудивительно, что они соединили в своем воображении подозрительное обиталище с обрушившейся на город эпидемией убийств и нападений вампиров, особенно после того, как она ограничилась в основном Потюксетом и прилегающими улицами Эджвуда.

Вард почти все время проводил в бунгало, правда, иногда отправлялся спать домой, и считалось, что он все еще живет под отцовской крышей. Дважды он примерно на неделю отлучался из города, но зачем – никто не знал. Он еще сильнее побледнел и исхудал, и казалось, ему не хватало былой уверенности, когда он повторял доктору Виллетту уже устаревшую сказку о важных исследованиях и скорых открытиях. Виллетт постоянно пытался перехватить Чарльза в доме его отца, потому что старший Вард был очень напуган и растерян и всеми силами старался устроить так, чтобы за его сыном хоть как-то приглядывали, насколько это возможно по отношению к совершеннолетнему человеку, к тому же чрезвычайно независимому и скрытному. И все же доктор стоит на том, что молодой человек и в это время еще был здоров, и в доказательство приводит свои беседы с ним.

В сентябре случаи вампиризма сошли на нет, однако в январе Вард чуть не попал в беду. Некоторое время соседи судачили о грузовиках, которые подъезжали по ночам к бунгало, и по непредвиденному стечению обстоятельств открылось, по крайней мере частично, какой груз они возили.

Однажды в безлюдном месте возле долины Надежд на грузовики было совершено нападение, но решившие разжиться спиртным налетчики на сей раз испытали ни с чем не сравнимый ужас. Длинные ящики, которые они вскрыли, содержали в высшей степени неприятные вещи, настолько неприятные, что представители преступного мира не смогли удержать язык за зубами. Воры немедленно зарыли свою находку, но когда слух дошел до полиции штата, было проведено тщательное расследование.

Задержанный незадолго до этого бродяга, которого обещали не преследовать за какое-то совершенное им преступление, в конце концов согласился отвести полицейских на заинтересовавшее их место, где было найдено нечто совершенно ужасное. Трудно сказать, что было бы с национальной и даже международной благопристойностью, если бы сведения об украденном грузе дошли до общественности. Никакой ошибки быть не могло, и в Вашингтон в лихорадочной спешке были посланы телеграммы.

Ящики были адресованы Чарльзу Варду в Потюксет, и полиция немедленно нанесла визит в бунгало, где обнаружила насмерть перепуганного, бледного хозяина с двумя его странными приятелями. Полицейские потребовали объяснений и получили довольно логичное свидетельство его невиновности. Ему будто бы для опытов, важность которых могли подтвердить все знавшие его в последние десять лет, были нужны анатомические образцы, поэтому он совершенно открыто заказал необходимое ему в нескольких агентствах, также не нашедших в его действиях ничего противозаконного. О *принадлежности* образцов ему ничего неизвестно, и для него совершенная неожиданность то, что полицейские намекают на ужасное воздействие на национальные чувства и национальное достоинство народа, если тайное станет явным. В этом его твердо поддержал его бородатый коллега доктор Аллен, чей глухой голос оказался

гораздо убедительнее, чем срывавшийся от волнения голос Варда, так что в итоге полицейские ничего не предприняли, разве что аккуратно записали имя и адрес нью-йоркского агента, которые дал им Вард, но расследование ни к чему не привело. Остается только добавить, что анатомические образцы были по-тихому возвращены на свои места, и общественное мнение осталось в неведении насчет совершенного святотатства.

Девятого февраля 1928 года доктор Виллетт получил от Чарльза Варда письмо, которое он считает чрезвычайно важным и по поводу которого не раз спорил с доктором Лиманом. Лиман считает, что оно содержит убедительное доказательство запущенного случая *dementia praecox*,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.